



Н.В.Грязных

Воспоминания

От составителя

...И теперь, через двенадцать лет после ее ухода, я продолжаю сверять с ней свои мысли и поступки. Поэтому воспоминания Нины Васильевны Грязных – моей бабушки – для меня имеют глубокий личный смысл. Их издание для меня естественно. Можно было бы грусто перепечатать набело. Но мне хотелось придать им форму именно книги, предмета, который ложится в световой круг настольной лампы совсем иначе, чем пачка разрозненных листов... В воспоминаниях бабушки упоминается почти каждый из наших общих родственников старших поколений. Они – удивительная возможность увидеть наше общее прошлое, освещенное рассветными отблесками Двадцатого Первого века. Я хочу дать такую возможность и вам, дорогие, родные мне люди.

Волгоград, 2000

Лидия Магнитская

Тираж – 30 экз. Экземпляр № 16

© 2000 Лидия Магнитская (редактирование, дизайн, макет, верстка)
Домашний адрес: 400064, Волгоград, ул. Библиотечная, 13, кв. 41
Телефон домашний: (8442) 73-12-02, тел/факс служебный (8442) 71-47-56
E-mail: ycs@vlink.ru для Лидии Магнитской

ДОРОГИЕ ПОТОМКИ!

Сегодня, 26 октября 1982 года, начинаю я писать свои воспоминания и хочу рассказать вам о ваших предках, от которых вы произошли. К великому моему сожалению, я и сама мало знаю о них, но все, что мне известно, передам вам.

Начну со своего прадеда и своей прабабушки. Его звали Феофан Иванович Грязных, а бабушка звалась Ефросиньей Ивановной. Жили они в селе Верх-Теченском, которое стояло на реке Тече между городами Екатеринбург и Шадринском в стороне от станции Катайск, до которой было 40 верст. Село было довольно большое, с красивой высокой церковью и женским монастырем. Внизу протекала река Теча, а вокруг села раскинулись широкие поля с перелесками из берез, черемуховых островков, а кое-где и из основных невысоких борочков.

Земля была сплошным жирным черноземом, и для того, чтобы достать камни под фундамент при постройке домов, нужно было ехать за много верст в сторону Екатеринбурга в село Каменское.

Дом прадеда Феофана Ивановича стоял на церковной площади, он был невысокий, продолговатый, из толстых бревен с пятью окнами, смотрящими на церковь. Усадьба была большая с надворными постройками: конюшней, погребом, банькой, топящейся «по черному», и колодезю рядом с ней. На огороде стоял амбар, куда ссыпалось зерно. Но, в общем-то, все это было довольно скромным и не говорило о богатстве его хозяина, чего и не было на самом деле. Каков был по характеру Феофан Иванович – я не знаю. А вот сын его, мой дед Феохист Феофанович, был очень своеобразным человеком: горячий, вспыльчивый, эгоистичный и склонный к бунтарству. И внешность была приметная, не рядовая: кудрявые черные волосы, синие глаза и правильные черты лица, смуглого и с румянцем. Он чем-то походил на крымского татарина. Женился он молодым на тихой и кроткой девушке – Анне Дмитриевне Чудиновой, которая родила ему пятерых детей: четырех дочек и сына, самого старшего. Звали их так: Василий, Екатерина, Елена, Антонина и Наталья.

Дед мой был обучен грамоте, любил читать. Он выписывал даже себе журнал «Сельская новь», любил поучать крестьян и считал себя намного выше их, но сам хлебопашеством мало занимался, сдавал свою землю в аренду башкирам (поселения которых были недалеко от его земли) или другим односельчанам. За аренду ему платили зерном. Вот преимущественно на том хлебе и жила семья. Утруждать себя дед не любил, как и не переносил никаких ограничений в своем поведении.

С бабушкой Анной он совсем не считался и много горя доставлял ей своими изменами. Мне рассказывали, что он мог переночевать в амбаре со своей работницей, нанятой на лето, а утром кричать: «Анна! Принеси нам квасу!» И бабушка покорно приносила им квас. Конечно, она очень страдала, и кончилось это тем, что она психически заболела, превратившись в маленькую девочку, играющую в куклы и собирающую цветные стеклышки. К счастью, помешательство бабушки Анны постепенно прошло и больше к ней уже не возвращалось. Дети ее все это видели и страдали за мать, возненавидев отца.

Мой отец, Василий Феохистович, пошел характером в мать. Тихий, серьезный, честный и скромный, он был очень добросовестным и трудолюбивым. Учился он в сельской школе вместе с сестрами Катей и Леной. Благодаря старанию

он научился хорошо, четко и красиво писать, что ему в жизни очень пригодилось. Его взяли на работу в Волостное управление, где он проработал несколько лет секретарем. Видя, как страдает мать и какая тяжелая, ненормальная обстановка дома, отец решил пробовать себе дорогу в жизни, чтобы помочь матери и изменить всю жизнь семьи.

Он уехал в Екатеринбург, где поступил к одному судье писарем на очень скромное жалование, т.к. платил ему сам судья. Не знаю точно, сколько он так проработал, но потом судья этого, увидев старание и исполнительность отца, устроил его работать в городской суд уже на повышенное жалование. Жил он очень скромно. Сумел подкопить денег и решился взять на себя всю свою семью. Он снял маленький домик и поехал в деревню, забрал мать, четырех сестер и еще сестру матери - Ксению Дмитриевну Чудинову. Ее сразу взял судья в няни к своим маленьким детям. Старшие сестры - Катя и Лена были уже девушками, и отец отдал их учиться в швейную мастерскую. Тоня и Наташа ходили в школу, чтобы продлить образование, начатое в Верхней Тече. Появилась у них и корова, что очень помогало им в питании. Жили, конечно, очень скромно. Отец долго не женился, очень много работал днем и по вечерам, беря себе для переписки разные судебные бумаги, и занимался самостоятельно изучением счетного дела, что впоследствии дало ему возможность работать счетоводом, а потом и бухгалтером.

От отцовского характера папа не приобрел ничего и пошел, как говорится, весь в мать. Внешность его была очень простая, не выигрешная, но сразу было видно, что он добрый человек. Он не пил и не курил совершенно. В таких мужчин женщины не влюбляются. Он, наверное, и сам это чувствовал и, кроме того, он не решился жениться, зная, что не каждая женщина согласится идти в семью из шести человек. Но как-то в одном доме, где он бывал, он познакомился с Марией Антоновной Терчко - преподавательницей и зав. канцелярией первой женской гимназии. Она была очень хрупкой маленькой женщиной, скромной и обаятельной, и с очень располагавшей к себе внешностью. Мария Антоновна понравилась отцу, и через некоторое время их знакомства он решил сделать ей предложение. Я не думаю, чтобы мама полюбила его, но она, оценив его доброту, расположилась к нему душевно и согласилась стать его женой, тем более что по возрасту они подходили друг другу. Ей, наверное, было тогда 34 года, а отцу - 36.

В период их знакомства мама подарила отцу свою фотографию с надписью «На добрую память доброму В.Ф. от М.Терчко». Вот почему я и решила, что мама больше всего оценила папу за его доброту и решилась быть ему подругой и помощницей, не боявшись большой семьи.

В 1906 году они поженились. В то время Катя и Лена уже работали в швейной мастерской, помогая своими заработками семье и одевая самих себя, папа имел уже приличный оклад, мама немногим меньше его, т.к. получала жалование за две должности - педагога и зав. канцелярией. Они смогли снять целую небольшую квартиру из шести комнат, отдельной кухней и застекленной верандой. Дом был каменный, двухэтажный. Наверху жили хозяева Хомутовы, а низ они сдавали. Дом был «врезан» в гору, и окна зала и спальни нашей квартиры, выходящие на улицу Верх-Вознесенскую (теперь К. Либкнехта), были высоко под потолком, а снаружи - над самой землей, со стороны же двора над землей окна были довольно

высоко над фундаментом. Из-за такого архитектурного своеобразия квартиры и не была дорогой. Вскоре после переезда в эту квартиру, родители приобрели рояль фирмы «Штединг». Мама немного играла на нем, но серьезного музыкального образования она не имела, хотя была дочерью музыканта, чеха Антона Ивановича Терчко, к тому времени уже умершего. Кухня квартиры была большой, с русской печью и расположена была через коридор, проходящий из сеней и упиравшийся в хозяйскую кухню, а дверь нашей кухни была напротив дверей столовой. Это было «владение» бабушки Анны, где она проводила целые дни. Работала она очень много, т.к. приходилось готовить пищу для большой семьи и даже печь хлеб, ведь тогда не было продажи готового хлеба. Чтобы ей было легче, папа выписал из деревни родственницу - девушку, которая и помогала бабушке. Пища, конечно, была очень простая, но питательная, т.к. корова была своя. Двор дома был окружен конюшнями, сараями с погребями, и овощи заготавливались на всю зиму. Кроме того, в кухне было подполье, где хранились соленья.

Вскоре, как обжились в новой квартире, папа купил белую лошадку Голубку, в доме появился троюродный брат папы, Гриша, который был у нас кучером и ухаживал за Голубкой. Он возил маму в гимназию и выполнял разные хозяйственные дела: ездил за водой, за дровами и сеном, за мукой, которую покупали большими мешками и разных сортов. Семья еще прибавилась, и за стол садилось уже десять человек. Обстановка в доме была очень простая. В столовой, где было три окна, стоял длинный стол, окруженный венскими стульями с гнутыми спинками. Стоял небольшой буфет орехового дерева. На окнах висели простые белые шторы, обе половины которых были привязаны к углам подоконников лентами. Над столом висела большая керосиновая лампа «молния» с матовым белым абажуром. Вот и все. Отапливала столовую и соседнюю комнату, где жила моя тетюшка, круглая унтермарковская печка. В зале стоял рояль, а у стенок дивана - несколько кресел в полотноных чехлах да небольшой круглый стол около книжного шкафа.

Ковров никаких не было, но пол в зале был весь покрыт толстым сукном, окрашенным в квадраты черного и синего цвета. Это было сделано для утепления пола. А спальня родителей была также покрыта сукном, только рыжего цвета (после революции это сукно нас спасло: из него шилась верхняя одежда). В доме был парадный ход на Верхне-Вознесенскую улицу и другой - во двор с большими железными воротами, выходящими на Колобовскую улицу (теперь Дзержинского). Двор весь был вымощен брусчаткой, и там никогда не было грязно.

Теперь я хочу вам рассказать о моем дедушке Антоне Ивановиче Терчко - чехе, музыканте, приехавшем в Россию с небольшим чешским оркестром. К сожалению, я не знаю, в каком году это было. Не знаю также, почему дедушка взял с собой и всю свою семью: жену Анну Францевну и шестерых детей: Анну, Антонину, Марию, Николая, Христину и Рудольфа.

Дедушка Антон играл в оркестре на кларнете, но владел еще и скрипкой и давал на ней уроки. Характера он, по рассказам мамы, был очень тихого, деликатного и доброго. Бабушка Анна была другой, более энергичной, иногда даже деспотичной и вспыльчивой, но и чудакватой немного, и вся семья находилась под ее влиянием. Злой рок тяготил над этой семьей - предрасположенность к туберкулезу. Дедушка умер совсем еще не старым. Умерла

дочь Христина, молоденькая девушка четырнадцати лет. После нее остались рисунки карандашом - чудесные цветы. Умер маленьким сын - Рудик. В шестнадцать лет заболела и моя мама, и ее на носилках увезли на кумыс. Она выжила, но, как говорят врачи, жила с одним легким. Сын Николай Антонович (мой крестный) умер от плеврита в нашем доме. Он был студентом Томского (мой крестный) умер от плеврита в нашем доме. Он был студентом Томского университета. Прекрасный был, деликатный, скромный человек. Незадолго до окончания университета, он увлекся одной красивой женщиной, и это его погубило, т.к. занимался он по ночам, переутомлялся, да еще простудился. Вот и привезли его к нам совсем больным, и он вскоре умер. После его смерти приехала к нам его «любовь», красивая и нарядная. На кресте его могилы она оставила трогательную надпись. Туберкулез не коснулся только бабушки и двух старших дочерей, Анны и Антонины.

Анна Антоновна вышла замуж за Петра Вл. Ван-дер Беллена, инвалида, ходящего на протезе. Он был специалистом по добыче золота и жил с семьей (пятеро детей) на прииске около г. Куви. Антонина Антоновна замуж не выходила и жила с бабушкой Анной, работая телеграфисткой.

Сначала вся семья жила на частных квартирах, а потом мама и папа помогли бабушке купить дом с усадьбой на одной из окраинных улиц города - Луговой. Это было уже спустя много лет после смерти дедушки, и жила там только бабушка и тетя Тоня. Усадьба была с садом и большим огородом, что очень поддерживало бабушку и тетю Тоню в питании. В саду было много малины, черемухи, рябины и сирени. Дом был из трех комнат и кухни. К русской печке примыкала большая плита, которая почти всегда была горячей, а на ней кипел большой кофейник с любимым бабушкиным кофе. Его запахом был пропитан весь дом. Двор, как и Луговая улица, был весь заросший травой. Бабушка никакая скотинки не водила кроме нескольких курочек. Во дворе была колодец, уборная и ряд маленьких бревенчатых сараичиков. Сараичики эти связаны у меня с воспоминанием о том, как бабушка ловила голубей. Она привязывала длинную веревку к ручке сараичика, бросала в сараичик зерно, а когда туда влетало несколько голубей, она издали дергала за веревку, дверь захлопывалась, и бабушка, переловив всех птиц, быстро расправлялась с ними и жарила их. Это было одно из ее любимых блюд. А еще она очень любила сладкие на ячках блинчики с малиновым вареньем, которое всегда варила из своей малины. Разные виды варенья в большом количестве наваривались всегда на всю зиму. И однажды случилась для бабушки большая неприятность. Она поставила на полку в чулане столько больших банок с вареньем, что полка не выдержала и сломалась. Бабушка тяжело переживала эту катастрофу. Выглядела бабушка так: маленького роста, она была довольно полной, круглолицей, с короткой косой и с забавной завитушкой на затылке, которую она закрывала, как ни странно, трехгранным жемчужным гвоздем. Вообще в характере бабушки было много своеобразия, и она могла даже в чем-то показаться чудачкой. Хотя она долго прожила в России, в ее разговоре встречались чешские слова. Например, неся горячий самовар, она кричала: «Манка, Тонка! Поднос!»

Воспоминание о смерти бабушки связано у меня с первой поездкой в В.Течу вместе с папой и мамой. Мне было тогда лет пять. Папе хотелось показать нам свою родину, отдохнуть там самим на природе и подкрепить мое здоровье, которое всегда их беспокоило. Это было в середине лета. Погода была хорошая, и мы

часто ходили в наш лес, который располагался на небольшой и очень своеобразной речке Басказик. Местами эту речушку можно было перешагнуть, но тут же рядом с этим «ручейком» были темные и глубокие омуты. В тени их вода Басказика была необыкновенно вкусной, почти сладкой. Водилась в нем и рыба, но не крупная. Помню, мы с папой удили с берега, и я поймала маленькую рыбку - бесхозоба. И мы смеялись над близким сочетанием слов Басказик и бесхозоб. Я наслаждалась непривычной мне погодой, природой, радовалась, что это «наш лес, наш луг и речка».

Но счастье мое длилось недолго. Однажды вечером я вдруг затосковала и начала плакать. Обеспокоенные родители спрашивали у меня, отчего я плачу и не болит ли у меня что-нибудь. Но я и сама не понимала, отчего мне так тоскливо, и проплакала весь вечер, так и уснув в слезах. А на рассвете раздался стук в окно, и папа передал телеграмму о том, что бабушка Анна при смерти. В тот же день мы уехали в Екатеринбург. Бабушка Анна Франциевна была разбита параличом. Говорить она уже не могла и вскоре скончалась. Это была первая смерть, с которой я соприкоснулась. Она вызвала у меня страх и удивление.

Теперь я хочу рассказать вам о своей любимой бабушке Ксении Дмитриевне Чудиновой, сестре бабушки Анны Дмитриевны. Родилась она в деревне Ангугово, которая была рядом с В.Течей. Я, к сожалению, не знаю, как звали ее родителей, моих прадедов, но двух сестер бабушки я знала. Их звали Евдокия и Наташа. Евдокия вышла замуж в Ангугово, а Наталья - в деревню Казанцево. Ксения была самой младшей из четырех сестер. Семья была бедная, и бабушке приходилось рано работать в людях. Была она очень работающей, доброй и общительной.

Но в детстве она пережила большую трагедию, о которой не могла забыть всю жизнь. Было ей лет шесть, когда тетка взяла ее к себе нянчиться с маленькой девочкой Агриппиной. И вот однажды, в жаркий летний день, когда все взрослые уехали в поле, осталась Ксюша одна дома. Укачав ребенка в люльке, она прилегла отдохнуть в сенцах и уснула. А соседние ребята, играя с огнем, подожгли солому в сарае, который был близко от сеней, где спала Ксюша. Проснувшись она от дыма, когда уже горели стены сеней. В страшном испуге, со сна, девочка выскочила во двор и кинулась звать на помощь, совсем забыв, что ребенок в комнате, в люльке. Когда она опомнилась, то сени уже были все в огне, и загорелся весь дом. Агриппина сгорела, и пожаром было уничтожено еще несколько домов. Бабушка не могла простить себе случившееся и считала себя великой грешницей. Она была религиозной и дала обет никогда не выходить замуж и отмирать свой грех.

И вот, когда папа увез ее вместе с семьей в город, она несколько лет прожила в нянью у судьи, поднакопила денег и отправилась пешком к святым местам - в Иерусалим. Много интересного видела она в своем путешествии. Побывала в Кивских пещерах, на горе Афон, купалась в реке Иордан, в Мертвом море. Переплыла Черное море и посетила святые места Иерусалима. Там она поступила в няни к одному арабу - врачу, жена которого была русской. Дети, мальчик и девочка, были чудесные. Бабушку все и везде любили за ее добрый и мягкий нрав и неизвестно, сколько бы она еще прожила в Иерусалиме, но тут родилась и, и папа попросил бабушку вернуться домой, чтобы нянчиться со мной.

Бабушка моя дорога красотой не блистала. В раннем детстве она перенесла

оспу, и лицо ее было покрыто следами от этой ужасной болезни. Даже ресниц было мало. Роста она была среднего, волосы русые, длинные (как и у всех сестер). Была она неграмотной, но знала столько разных прибауток и уж очень любила детей. Бывало, увидит на улице ребенка, обязательно остановится, заговорит, поглядит по голове.

Из Иерусалима привезла она много разных интересных для верующих вещей: чудесный ладан, свечи разные, змеек с горы Вифлеем, которая будто бы обладала чудесным свойством помогать матерям, у которых было мало молока. Объяснялось это тем, что будто бы Богородица во время бегства в Египет, кормя младенца Иисуса Христа, роняла свое молоко на горы, и земля стала чудодейственной. Кроме того, бабушка привезла еще «Панораму» - ящичек с увеличительным стеклом, через которое можно было рассматривать картинки из священного писания. Как она гордилась приобретением и радостно показывала картинки своим знакомым старушкам. Все свое богатство бабушка хранила в сундучке из кипарисового дерева, которое имело свой сильный запах, и все вещи были пропитаны им. С тех пор, как я начала осознать окружавшее, я всегда видела рядом с собой лицо бабушки, ее теплые, мягкие руки, ее ласковый голос, и стала она после мамы самым любимым моим человеком, осветившим мое детство и оставившим глубокий след на всю жизнь.

Родилась я в 1909 году 15 августа в праздничный день Успенья Пресвятой Богородицы. Подрастая, я с гордостью говорила: «Богородица умерла, а я родилась» Я была поздним ребенком. Маме было уже 37 лет. Я родилась слабойшей, да и молока у мамы было мало, и пришлось прибегнуть к искусственному вскармливанию. Родители дрожали надо мной, строго придерживались рекомендаций врачей и, как говорила мне потом бабушка, чуть не заморили меня голодом, боясь кормить коровьим молоком и сильно разводя его водой, пока бабушка сама на свой страх и риск не стала больше подливать цельного молока, и с тех пор я начала поправляться. Но аппетитом я не отличалась, чем тревожила родителей и тогда, когда уже подросла. Они даже советовались с доктором, и он посоветовал кормить меня, как только я проснусь, прямо в постели молоком со сладкой булочкой.

После я худенькой. Хорошо помню, как бабушка Ксения, прижимая меня к себе, похлопывала по спинке и приговаривала: «Ниночек, Ниночек! Сухарик ты мой!». Были мы с бабушкой неразлучными друзьями. Она старалась всегда чем-то занять меня. Делала иногда незатейливые игрушки из «тюричков» (катушки из ниток), шила тряпичных кукол, хотя у меня и хороших кукол было много, но каждая новенькая меня радовала. Самыми любимыми куклами были те, что делала мне папа и мама. Они шили из белого материала по выкройке туловище куклы со сгибавшимися руками и ногами и даже с пальчиками на ручках. Потом набивали все это крошеной пробкой и пришивали головку куклы из папье-маше. Такая кукла была легкой, мягкой и размером с полугодовалого ребенка. Я даже сейчас помню, как пахла головка куклы - смесью стлярного клея и краски. Были у меня две такие любимицы - Катя и Люба. Как-то мама привезла мне из Петрограда красивую и нарядную фарфоровую куклу, но она была вся твердая, холодная, и я ее даже невзлюбила. Игрушек у меня было очень мало. Помню, как-то из моих дней рождения такой момент: у нас было много гостей. Надарили мне уйму интересных игрушек, и каждый гость, поднимал меня под мышки, чтобы

подбросить до потолка или расцеловать. В итоге к вечеру подмышки у меня так воспалились, что я не могла уснуть, плакала, и мама чмокнула ее сзади. Болела я очень часто. В четыре года я заболела дифтеритом и помню, как ночью в сильную жару я проснулась и увидела при свете ночника плачущего надо мной папу. Он очень боялся за мою жизнь, т. к. мою маленькую сестренку Олечку они похоронили, когда ей было пять месяцев, а мне два с половиной годика. Она умерла от поноса, и, как ни странно, я ее совершенно не помню. Она была похожа на маму, а я вот уродилась вся в грязновскую породу. Мама моя казалась мне всегда такой красивой, и я любила ее с каким-то благоговением. Помню, когда мама приходила из гимназии и оставляла шубу свою в прихожей, я бежала туда и целовала пахнущую морозцем шубу и мамину мудру. Мама много работала и приходила домой только к обеду, который был у нас часов в пять-шесть. Тогда же появлялся и папа, и мы все вместе усаживались вокруг большого стола и шумно обедали, делаясь впечатлениями и новостями прошедшего дня. Правда, в ту пору семья наша немного поубавилась. Крестная моя, Катя, перешла жить к своей подруге из мастерской, а Лена уехала в Киев, тоже к подруге, и там вскоре вышла замуж за Федора Макаровича Лебедева. Остались с нами Тоня и Наталия, которые учились в мамини гимназии, куда она же их и подготавливала. Крестная часто бывала у нас и обшивала меня. Помню, как мне не нравилось тогда стоять на примерке.

Жизнь в нашей семье текла спокойно, мирно. Я никогда не слышала повышенных голосов или бранных слов. Тетушки мои уважали мою маму, а она была очень тактичным, деликатным человеком. Как я любила воскресенья из-за того, что мама и папа были дома! Утром я, только проснувшись, перебиралась на мамину кровать и бралась за свое любимое дело: расплетание многочисленных тоненьких маминих косичек, которые она заплетала в субботу после бани для того, чтобы прическа была пышнее. Волосы у мамы были пепельные, а глаза голубые. Вся она была очень хрупкая и очень располагала к себе всех знающих ее. После причесывания мы одевались и выходили в столовую, где уже все было готово для завтрака. Позавтракав, мамочка садилась за какое-нибудь рукоделие, а я подсаживалась к ней на маленькую скамеечку, и так мне было приятно смотреть, как ловко она вязала что-нибудь своими маленькими руками или вышивала гарусом дорожку (которая и сейчас у меня жива). По воскресеньям мама давала мне поиграть моим стадом фарфоровых коровушек. Они помещались в большой коробке с зеленым травянистым дном, были разных мастей и в разных позах, с телятами и без них. Я с наслаждением расставляла свое стадо и с грустью расставалась с ним до следующего воскресенья. Мамочка не занималась хозяйством, но любила делать миндальное печенье, которое всем нам очень нравилось. Тут и мне находилось дело: выдавливала зерна миндала из шкурки. Распаренные, они так приятно и легко выскакивали из своих одежек. Потом их рубили и, смешивая с взбитыми белками, запекали. Получались такие комочки, как ежик, крендельки. Мама любила угощать ими своих гостей. А гости бывали у нас часто. Мама была общительной и радушной и рада была провести вечер с приятными для нее людьми. Помню, как мне не хотелось уходить от гостей в девять часов, и как одна в спальне я еще долго прислушивалась к разговору и смеху в столовой или к вальсам, которые мама играла для гостей в зале.

А иногда, в будние дни, мы с мамой после обеда уходили в магазин за

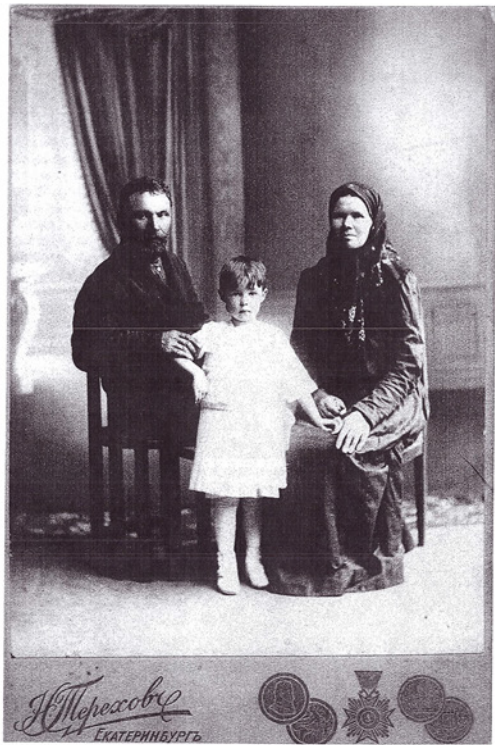
покупками. Какой прекрасный был гастрономический магазин Топорищева. У входа в него сидел громадный черный, наверное гипсовый, дог, который мне очень нравился. А какой запах был в магазине! Прилавки были завалены разными копченостями, висели окорока, краснели головки сыра. В ваннах лежала икра: и красная, и черная. Приказчики - все мужчины, были в высоких белых шапочках и отличались вежливостью и ловкостью, нарезая тонкими ломтиками нежно-розовую ветчину или сыр. Мы покупали того и другого понемногу и шли с мамой в кондитерский магазин напротив. Мама любила цветную помадку к чаю, а для меня покупали ирис и очень вкусные шоколадные лепешки, которые назывались «миньен». Я очень любила эти походы с мамой и возвращалась домой посвежевшей и разряженной.

В доме нашем был раз и навсегда установленный порядок дел и обязанностей. Суббота была днем уборки, которой занимались мои тетушки - Тоня и Наташа, наша самая веселая певунья. Снимались с окон наши единственные цветы - олеандры, цветущие розовыми цветами. У каждого члена семьи был свой олеандр, и мне казалось, что комнаты наши превращалась в цветущий сад. Я тоже принимала участие в их обрызгивании и крутилась около Наташи, а иногда и выпрашивала тряпочку помыть пол. Как приятно было потом в освеженном воздухе!

У Наташи был очень хороший голос, и она очень любила петь. И еще она была шутницей. То обливала кого-нибудь холодной водой (летом), то пугала, нарядившись приведением. А Тонечка была совсем другого характера и по внешности отличалась от сестер, которые были круглолицы и румяные. Тонечка же походила на отца. Черты ее лица были даже лучше, чем у сестер, но кожа была сероватой, и на ней появлялись иногда прыщички, которые мучили Тоню. Она считала себя некрасивой, росла стеснительной и очень уязвимой. Училась она очень старательно и закончила гимназию с золотой медалью.

Итак, суббота! Банный день. Баня была в самом доме рядом с хозяйской громадной кухней. Стоило только открыть дверь, и мы попадали в большой предбанник с широкой лавкой. В бане была лавка и деревянная решетка. Я, наверное, с очень ранних лет запомнила эту баню. Как я ревела, когда мамочка мыла мне голову мылом, и как потом, уже вымытая, сидела я в предбаннике в тазике с теплой водой и «булькала», купая игрушки, пока мама домывалась. А как приятно было, когда мама заворачивала меня в свежую простынку, брала на руки и несла домой. На столе уже кипел наш большой медный самовар, возвышалась грудка полосатой разноцветной помадки, которую любила мама, и играло своим апельсиновым цветом традиционное рябиновое варенье. Дорогая моя труженица, бабушка Анна очень уважала маму и боялась чем-нибудь не угодить ей, стараясь, чтобы все было как следует и вовремя. Скроннейший был человек моя бабушка!

За чайным столом (если это было лето) иногда принималось решение, к всеобщей нашей радости, поехать завтра на пикник на «Каменные палатки», и я мечтала о поездке и была неспокойна из-за того, не помешает ли нам дождь, который бывал у нас на Урале так часто. Просыпалась я раньше обычного и бежала к окну посмотреть, нет ли дождя, и прыгала от радости, если погода



Ниночка Грязных с дедом Феоктистом и бабушкой Анной.
Екатеринбург, 1914г.



С мамочкой Марией Антоновной.

С папой Василием Феокистовичем. Екатеринбург, 1919г.



была хорошей. Гриша запрягал в телегу Голубку, бабушка укладывала туда корзины с провизией и самовар, и мы всей семьей отправлялись за город в лес, где возвышались нагромождения больших каменных блинов. Это и были «Каменные палатки». Вокруг был сосновый лес, а неподалеку - озеро Шарташ, из которого приносили воду для самовара. Я бегала по лесу, собирала шишки для самовара в свою корзиночку и надыхаться не могла смолистым воздухом, а потом с меньшим удовольствием нюхала дымок из закипавшего самовара. На траве расстилалась большая простыня со всякой едой, на ней и мы все рассаживались кругом. Тут у меня появлялся такой аппетит, которого никогда не было дома. Всем было хорошо и радостно.

Но мы с мамочкой не всегда проводили лето в городе. Почти каждый год месяца на два мы с ней уезжали на кумыс в какое-нибудь башкирское или татарское село. Пили там кумыс, ели бутерброды с топленным бараньим жиром, посыпанные солью. Гуляли по степи, вдыхая пахучий запах трав. Все это было необходимо маме для подкрепления ее здоровья и, наверное, не в меньшей степени и мне, т.к. я тоже была «слабулечкой».

В детстве я перенесла два воспаления легких и массу инфлюэнций, как тогда называли гриппозные заболевания. А бабушка звала их «поростушками». Но в больнице я ни разу не лежала. Был у нас свой доктор - Пятницкий, который всегда меня лечил, и я очень его любила. Был он кругленький, розовый, с мягкими белыми руками, пальцы которых были покрыты золотистыми маленькими волосками. Когда он приходил, становилось светлей и веселей. И исходил от него очень приятный запах хороших духов. Он любил шутить и смешить меня. Помню хорошо, какое блаженное чувство охватывало меня после кризисов, когда спадала температура, и мне было прохладно, и я как будто плавала в каком-то неизъяснимом блаженстве. Должна признаться, что я даже любила болеть из-за того, что тогда мама бывала больше около меня и нежно ухаживала за мной.

Мне как-то не хватало маминой ласки. Мне казалось, что мама меня мало любит, и тогда я плакала и все спрашивала маму, любит ли она меня. Я была ласковым ребенком: вечно висла на папиной шее, целовала бабушку Ксению в ее мягкие щеки. От нее я ласки видела много, но, тем не менее, по временам, когда мы с ней были наедине (особенно в зимние дни), нападала на меня тоска, и я начинала ныть: «Бабушка, мне тоскливо». Она уговаривала меня, перечисляя всех моих родных и говоря, как все меня любят. А чтобы окончательно переменить мое настроение, придумывала что-нибудь приятное для меня: то приносила с террасы холодных кедровых орешков, говоря, что это «белочка принесла», то угощала меня скобленой брюквой, которую я любила. А то мы с ней подсаживались к топящейся печке в столовой, и бабушка поджаривала горох, который забавно прыгал на сковородке, подрумянивался и становился рассыпчатым и вкусным. Печка занимает особое место в моих воспоминаниях. Это была «голландка», как ее называли в обиходе, а по ученому она называлась «унтермарковская». Была она круглая, обтянутая железом. Заслонок было две: наружная - толстая, чугунная, закрывавшаяся на винт, а внутренняя - тонкая, с круглым глазком и с маленькой заслоночкой, опускающейся на него. Когда печка сильно разгоралась и была хорошая тяга, то торая заслонка начинала часто и ритмично стучать, а пламя даже немного выскакивало из ее окошечка. Как мне нравился этот стук! Так уютно от него становилось. Иногда мы с бабушкой садились на коврик перед

печкой и смотрели, как горят березовые дрова, иногда выпуская длинные язычки пламени, или «фухая» и пощелкивая.

Это все осталось во мне как одно из самых сильных воспоминаний детства и общения с бабушкой Ксенией. А еще бабушка придумала нечто, что меня очень заинтересовало. Она сказала мне, что мы можем сделать снегурочку, если наберем снега в большую корчагу и поставим корчагу на печку, чтобы там «выпарилась» снегурочка или что-нибудь другое. Я загоралась этим, и мы так и делали: я нагревала лопаточкой целую корчагу снега, потом бабушка плотно завязывала ее и поднимала на русскую печку. И вот начинались дни ожидания. Я каждый день бегала на кухню, залезала на лесенку и прислушивалась, не пошевелился ли уже снегурочка в корчаге. Так продолжалось с недельку. А потом бабушка говорила, что уже пора посмотреть, и я с трепетом снимала с корчаги тряпку. Там оказывалась кукла, какая-нибудь ночная рубашка для меня или интересная книжка.

А однажды бабушка разбудила меня утром и позвала на кухню, сказав, что в корчаге что-то получилось. Каково же было мое удивление и радость, когда я увидела в кухне на полу маленькую телочку - белую, с коричневыми пятнами. Назвали ее в честь меня Нинкой, и я то и дело бегала на кухню ласкать ее. Когда она подросла, ее подарили бабушке Анне Франциевне.

А как я любила Рождество! Наверно, за неделю до него начинали мы готовиться к елке. По вечерам вместе с Тоней и Наташей клеили цепи, делали фонарики и бонбоньерки, золотили орехи. Гриша сам ездил в лес и привозил пышную красавицу под самый потолок вышину. Когда я была маленькой, то меня в зал не пускали, и только утром, в день Рождества, открывали двери, и я видела украшенную елку. Это было великолепное зрелище. Чего только не было на елке. Необыкновенно красивые шары, хлопушки с сюрпризами, фонарики, всякие пряники с наклеенными на них ангелочками или цветами, шоколадные яйца, тоже с сюрпризами, яблоки, орехи и конфеты в красивых бумажках, разные золотые и серебряные зверушки, домики и т.д. Глаза просто разбегались от обилия украшений. На Рождество к нам иногда приезжали Ван-дер-Беллены: тетя Аня (сестра мамы), дядя Петя и их пятеро детей. Вот где была радость, мою «тоуску» как рукой снимало. С моей ровесницей Верочкой мы без конца смеялись, играли, и я с аппетитом ела, глядя на ребят. Бывало, видя такое мое оживление, родители просили не увозить Верочку, а оставить ее погостить у нас. Если это случилось, то радости моей не было конца, мы с ней иногда даже «бесились», чего я совсем не умела делать одна. Конечно, после ее отъезда я опять начинала грустить, и родители мои сокрушались о том, что умерла моя младшая сестренка Олечка. Как хорошо было бы нам расти вместе.

В Рождественские дни мы ездили в гости к бабушке Анне Франциевне. Иногда собирались там вместе Ван-дер-Беллены и мы, т.е. папа, мама и я. Вот было уютно, весело и шумно! На стол подавался жареный гусь с «кнедликами зелелим» - чешским национальным блюдом. Кнедлики - это шарик из плотного вареного теста, а «зелелим» - тушенная докрасна капуста. Гусь был обложен всем этим. Все плавало в жире и было очень вкусно. Потом подавался неизменный кофе со сливками и с разными сладкими пирогами, печь которые была большая мастерица тетя Тоня. Но сейчас всплыли в моей памяти и печальные воспоминания об одних днях, проведенных мною у бабушки. Мне, наверно, не было и пяти лет, когда

заболела scarлатиной Наташа. Боясь, как бы я не заразилась, родители отвезли меня к бабушке Анне. Какое это было испытание для меня! Днем еще было терпимо, когда я играла с бабушкиным котом Васькой или бабушка меня чем-нибудь развлекала. Но ночью, когда все ставни в доме закрывались на железные болты, и комната освещалась только маленьким ночником, а за окнами слышался равномерный стук колотушки сторожа, обходящего улицу, на меня наваливалась такая тоска, что я не могла не плакать. Иногда я просыпалась даже среди ночи и редела, твердя: «Хочу к маме».

Намучилась тогда со мной бабушка, подолгу уговаривая меня, а иногда и сердясь на мой неумный плач и пугая меня чем-нибудь. Залпомнились мне бабушкины ночники - малюсенькие лампочки, все из розового или голубого стекла, раскрашенные мелкими цветочками.

В один из дней бабушка ела холодную картошку, обмакивая ее в крепчайший соус из горчицы, уксуса и перца. Это она любила. Тут же около стола крутился Васька - громадный тигровый кот с зелеными глазами. Бабушка, желая развлечь и пошmettere меня, взяла да и помазала соусом Васькин нос. Боже, что тут с ним случилось! Он катался на полу, царапая себе морду лапами. Бабушка хохотала, а мне было жаль Ваську. Я схватила его и стала обтирать его морду, а потом еще долго ласкала и гладила его.

Вернули меня домой только тогда, когда Наташа выздоровела, и опасность заражения прошла. Но scarлатина дала осложнение на глаза, и это угрожало даже слепотой. Мамочка повезла Наташу к профессору в Москву, где удалось спасти только один глаз. Второй же так и не видел ничего в течение всей Наташиной жизни. Ей тогда было 16 лет. Училась она в гимназии. Но врачи, опасаясь за глаз, запретили ей учиться. А Тонечка окончила гимназию с золотой медалью, поехала в деревню учительствовать. Но вскоре вернулась домой, поняв, что эта профессия совсем не для нее. Она была слишком стеснительной и не могла справиться с ребятами. Тогда она поступила на какие-то курсы и стала счетоводом. всю жизнь она никогда не уезжала от нашей семьи.

Теперь хочу вернуться опять к бабушкиному дому, только в летнее время. Вот летом я очень любила гостить у бабушки. Приехав к ней, я сразу же бежала в огород, зная, что там есть для меня лакомства - крупный сахарный горох, бобы, мак, сладкая морковка и репа. Полакомившись всем этим, я бежала в конец длинного огорода, который ничем не был засажен и представлял собой довольно большой лужок, заросший высокой зеленой травой. Как я любила там кататься и валяться или, присмирив, рассматривать всяких букашек и ловить кузнечиков, стрекотавших вокруг. Потом шла в сад, любовалась цветами, которые выращивала тетя Тоня. Нюхала резеду, запах которой так любила мама. Залезала на боярышник и пробовала его мучнистые ягоды. А если была уже созревшая черемуха, то взбиралась по крепкой лестнице (всегда приставленной к дому) на крышу, куда свешивались ветки черемухи и рябины, и наедалась черемухой досыта, являясь в дом с совершенно черным ртом.

Был у бабушки и малинник, где тоже можно было ползать и искать малины. В саду стояла новенькая беленькая банька, в предбаннике которой я иногда устраивалась играть «в дом». А иногда «домом» становилась зеленая беседка и скамьи вокруг нее. Каким праздником было для меня чаепитие в беседке, когда со мной были папа и мама. Я без конца бегала в дом и обратно,

помогаю носить посуду и блюда с пирогами или печеньем. Вот вспоминаю теперь, какими сильными были в детстве ощущения радости и тоски.

Запомнились мне Пасхальные праздники. Вся семья помогала бабушке готовить тесто для куличей, протирать творог для «пасок», так назывались высокие творческие пирамидки из творога с изюмом или с шоколадом, которые формировались в специальных деревянных формах с крестами на боках. Вся эта стряпня требовала умения, и все волновались, охладут ли куличи, не развалится ли нежная пасха. Куличи смазывали взбитыми белками с сахарной пудрой, посыпались цветным маком, а сверху ставились какие-нибудь барашки, петушки или розочки. Красили много яиц. Тут я принимала живейшее участие. И вот в первый день Пасхи наш большой стол был заставлен куличами, пасками, гурдами крашеных яиц, а на блюдах лежали окорок, холодная телятина, поросенок, да и не перечислишь всего! И еще самое для меня приятное было на столе - это горшочки с гвацинтами, от которых распространялся чудесный запах по всей столовой. Это убранство пасхального стола не убиралось целых три дня, пока это все постепенно не съедлось приходившими гостями и нами самими. В такие дни к нам приходил даже священник нашей Вознесенской церкви и много маминых сослуживцев и просто знакомых.

Не могу точно вспомнить, но мне кажется, что вино никогда не появлялось у нас на столе, уж не говоря, конечно, о водке. Вообще, гостей всегда поили чаем из маминого никелированного самовара. К чаю подавались варенье разных сортов, мамини миндальные крендельки или сдобы, испеченные бабушкой. Помню, что любимым вареньем было варенье из маленьких яблочек китайки, которые просвечивали насквозь, как медом налитые.

Перед Пасхой бабушки мои говели, т.е. не ели мясного и молочного. Но остальные члены семьи, по-моему, не постились. Бабушка очень часто ходила в церковь и приходила оттуда с просветленным лицом, говоря: «Благодати и милости Господь послал!», и подавала мне просвируку. Я, как и все дети того времени, верила в Бога, знала «Отче наш» и «Богородицу». Бабушка иногда брала меня с собой к обедне, а потом дома расхваливала меня, рассказывая всем, как я хорошо стояла в церкви и не хотела даже присесть. Церковь наша Вознесенская стояла высоко на горе на Вознесенской площади, через которую проходила и наша улица - Верхне-Вознесенский проспект. Церковь была зеленая, двухэтажная, с высокой колокольней, и была она видна со всех сторон города. На нашей стороне улицы (правой, если подниматься вверх) на площади выходил угловой дом с высоким крыльцом - дом миллионера Соломурского. Он мне памятен тем, что на крыльцо этого дома в воскресенье выходила горничная в белом фартуке и наколкой на волосах с большим подносом, наполненным печеньем, пряниками и конфетами. Ее окружали бедно одетые дети, ожидающие у крыльца ее выхода, и она раздавала им угощенье с подноса. Мы, хорошо одетые дети, в этот момент, признаюсь, завидовали беднякам, но подойти, конечно, не решались.

С большим душевным волнением и грустью переживаю я к рассказу о событии, перевернувшем всю нашу жизнь и нарушившем мое счастливое детство. В 1915 году, осенью, папу арестовали. Он был обвинен в подлоге каких-то документов. Зная моего отца, его честность и неприимчивость с преступностью, я уверена, что обвинение было ложным. Да и сам он потом говорил, что пострадал безвинно. Но был суд, и его осудили на два года тюремного заключения. Это был громадный

удар для всей семьи. Все изменилось в нашем доме. Маме одной не под силу было оплачивать квартиру. Пришлось пустить квартирантов, сдавая им зал и комнату, где жили Наташа и Тоня. Лошадь Голубку тоже продали. Кучер Гриша и девушка, бабушкина помощница, уехали в деревню. И осталось нас шесть человек: две бабушки, две тети, мама и я. Расположились мы так: бабушки - в кухне, тети - в прохладной комнате между столовой и нашей с мамой спальней.

Мне исполнилось шесть лет, мама отдала меня учиться в младший подготовительный класс ее гимназии. Вообще-то, туда набирали детей только семилетнего возраста, но для мамы сделали исключение. Тогда только что было введено новшество в обучении. До первого класса было еще три подготовительных класса: младший, средний и старший. Я была, конечно, совсем еще малышкой. Все меня любили, а ученицы старших классов забавлялись со мной, как с куклой, таская на руках по коридору и отнимая друг у друга. Не могу сказать, чтобы это все мне нравилось, но приходилось терпеть. В классе мы занимались примерно тем же, чем теперь занимаются дети в садиках: лепили, рисовали, раскрашивали, вырезали, клеили и исподволь изучали буквы и счет. Я ходила в гимназию вместе с мамой, а потом бабушка приходила и забирала меня домой.

Теперь расскажу о наших квартирантах. В зале жили трое студентов, а в маленькой комнате поселился приехавший из Сургута сибиряк - Силин Николай Александрович. Это был очень высокий и крупный мужчина цветущего вида с черными яркими глазами и черными волосами, зачесанными назад, как у Горького. Губы у него были полные и красные, а зубы белоснежные. Был он очень громогласен и обладал веселым нравом. Он быстро освоился в нашем доме и даже уговорил взять его в нахлебники, т.е. питаться вместе с нами (конечно, оплачивая отдельно за стол). Вот тут и началась наша беда и горе. Мама понравилась Н. А., и он стал настойчиво добиваться ее расположения, чего в конце концов и добился. Мама изменила отцу. Трудно было скрыть это от меня. Тетушки стали упрекать маму и говорили, как это она могла сделать, не пожалев ребенка. Мама сказала, что когда я подрасту, я пойму ее и прощу. И я действительно поняла многое, став взрослее. Мой папа, при всей его доброте, был очень пренесым, скромным и неинтересным даже внешне. А тут встретилась яркая индивидуальность, сильная воля и выигрывающая внешность. Сомневаясь, чтобы это была настоящая любовь, скорее вспышка, которая потом угасла, но жизнь уже была сломана. Хочу еще отметить, что мама долго держалась, и уживаясь Силина продолжалась, наверное, не меньше года, а потом он все-таки спомал ее силой своего характера.

Понятно, как отрицательно отнеслись Тоня и Наташа к маминой измене, но не помню, чтобы были какие-то громкие скандалы. Они слишком уважали маму раньше и не могли теперь оскорбить ее. Но обстановка в семье, конечно, была тяжелой. Нужно было как-то изменить ее. И мама решила уйти из дома. Силин же переехал на квартиру к тете Тоне. Мама попросила гимназического начальство дать ей комнату в здании гимназии и получила ее. Мама ушла из дома в начале лета 1917 года. Тетушки не отдали ей меня, а она, по-видимому, не стала настаивать, чувствуя свою вину. Вскоре вернулся мой папа. Он был, конечно, потрясен всем произошедшим и твердо решил не отдавать меня маме. А как я тосковала по ней! Папа решил переехать на другую квартиру, т.к. наша была уже слишком дорогой для него. И мы переебрались в маленькую квартиру из

трех комнат, сравнительно небольших, на верхнем этаже деревянного дома Рябковых на углу Харитоновской и Водочной улиц. Внизу была хозяйская скобяно-москательная лавка, из которой сильно пахло керосином. В одной половине верхнего этажа жили сами хозяева, в другой - мы. Сколько тяжелых воспоминаний у меня связано с этой квартирой! Примерно в июле месяце 1917 года приехала к нам тетя Лена со своим мужем Федором Макаровичем Лебедевым (они жили в Киеве). Ей хотелось познакомиться нас с ним и показать ему наш город. В качестве гостинцев они привезли кукурузу в початках, которую мы никогда не видели и не ели. Помню, как она нам понравилась, хорошо сваренная и облитая горячим толченым маслом. Тогда же я впервые увидела каштаны. Только они были дикие и горькие. Но все равно мне нравилось играть с ними. Погостив у нас, они стали звать папу в Киев вместе со мной. Они видели, как я тоскую по маме, плачу и прошуся к ней, и посоветовали папе увезти меня хотя в время подальше, чтобы я отвлеклась переменной обстановки. Папа, подумав, согласился. Но уже на вокзале, при посадке в вагон, он понял, что сделал ошибку, не учтя, какое было положение в стране.

Вагон был переполнен до отказа, и нам пришлось сидеть в тамбуре на чемодах. И вот в Курске, кажется, произошло событие очень странное для меня. В ту пору поезда отходили от вокзалов по звонкам колокола: первому, второму, третьему. Первые два - предупредительные, третий - отходной. И вот в Курске пассажиры, зная, что поезд стоит здесь долго, высыпали на перрон, чтобы хоть немного подышать после вагонной тесноты и духоты. Мы с папой тоже вышли. И вдруг раздалось сразу три звонка без всякого предупреждения. Народ кинулся бежать к вагонам. И вот я увидела, как прямо на меня бежит солдат с вытаращенными глазами. В одной руке у него был жестяной чайник, в другой еще два. Он налетел прямо на меня, носик чайника задел мою шею, и кипяток хлынул мне за воротник пальто. Я закричала от боли, а солдат помчался дальше. Мы добежали с папой до нашего тамбура, и тетя Лена рванула с меня пальто, сняв с ним вместе и целую заплату кожи с моей груди. Боль была ужасная. Чтобы как-то снять эту боль, тетя Лена все время дула на рану или обмахивала ее газетой. К ночи папа попросил людей, ехавших в вагоне, хоть как-то дать мне возможность прилечь и заснуть. Одна еврейка взяла меня к себе на верхнюю полку, но я не смогла долго там пробить от духоты и от неутраченной боли и опять ушла в тамбур. На какой-то станции папа сводил меня в медпункт и там, смазав рану мазью, меня забинтовали. В Киеве ожог постепенно зажил, но след от него остался на всю жизнь небольшим пятном.

В Киеве мы прожили недолго, и папа решил возвращаться поскорее домой. Посадка в вагон была ужасной. Дядя Федя и папа втокнули меня через окно. Какой-то солдат, ехавший на верхней полке, втянул меня за руки и посадил на свою полку, а сам занял место для папы на нижней. Вагон моментально наполнился людьми, и папа еле пробился к нам. Так он и ехал всю дорогу сидя. А солдат так и не прогнал меня со своей полки, и даже ночью я спала рядом с ним. Звали его Жорой. Добрый был человек, и я запомнила его на всю жизнь. На груди его был Георгиевский крест, и он делился со мной своим сахаром.

Дома тоска моя вернулась ко мне с прежней силой. Не смогла я жить без мамы! Нервы мои, наконец, не выдержали, и у меня начались ужасные ночные страхи. С вечера я засыпала, но вскоре во сне начинали в глазах у меня мелькать

разноцветные яркие круги. Я понимала, что должна куда-то бежать, иначе меня ждало что-то ужасное. Я вскакивала с постели и с открытыми глазами, ничего не видя, рвалась бежать и кричала от ужаса. Тетушки мои удерживали меня, успокаивали, но я ничего не видела, не слышала, не понимала. Тогда они присыпали на меня водой или давали попить. И вот тут у меня немного приходила в себя, но начинала истерически хохотать, пока не падала в изнеможении на кровать. Страшно даже все это вспоминать!

И вот, видя, в каком я состоянии, Наташа и Тоня уговорили папу вернуть меня маме. Какое это было великое счастье для меня! Мама тогда жила в гимназии, в небольшой комнате на первом этаже под пансионом. Окна были довольно низко от земли. Я пишу об этом потому, что окна эти я вспоминаю с ужасом.

Всю радость от возвращения к маме, все счастье жить с ней отравил мне Силин. Он не давал маме покоя, настаивал на продолжении их отношений. А мама решила окончательно порвать с ним и жить со мной, дядей. И вот он часто являлся к нам бледный, с горящими глазами. Уговаривал, требовал, молил маму быть с ним, а один раз он стал оскорблять ее и ударил по лицу так, что у мамы пошла носом кровь. Все это приводило меня в ужас, мне казалось, что он может маму убить. Это был какой-то сумасшедший человек. Он чуть ли не каждый день стучал в наши окна, а потом врвался к нам.

Помню, как-то в воскресенье он опять вбежал к маме, а я, не помня себя от страха, кинулась бежать в комнату одной классной дамы, которая тоже жила на нашем этаже. Вбежав, я упала на кровать, твердя: «Он ее убьет! Он ее убьет!», и так тряслась от страха, что кровать подо мной стучала об пол. Помню, как Юлия Флориановна успокаивала меня, а потом долго разговаривала с мамой. Наступила зима, и визиты Силина стали реже, но все-таки окончательно он не успокоился.

Я тогда училась в старшем подготовительном классе, мама по-прежнему много работала и по ночам долго сидела при свете зеленой лампы, проверяя тетради учениц. Я, иногда просыпаясь ночью, смотрела на мою дорогую мамочку, и так мне было отрадно, что я с ней. Питались мы из пансионской кухни, которая находилась через одну комнату от нас. Как ни странно, но я не помню, как отразилась на нас и нашей жизни Октябрьская революция. Помню только, что в конце 17-го года или в начале 18-го появились в городе чехи. Они заняли половину нашей гимназии, как раз ту, в которой жили мы с мамой. Пансион был ликвидирован и кухня была занята чешскими поварами. Чтобы попасть в нашу комнату, нужно было проходить мимо кухни соседнюю с ней комнату. Повара часто выходили в нее отдохнуть от жары. И вот главный повар заметил меня, остановил как-то и расспросил, кто я и где живу. Я ему все рассказала, а он сказал мне, что у него дома тоже есть такая же дочка. Сказал, что зовут его Мефодий Норбертович Мехачек. Очень он был симпатичный и внешне приятный человек: русый, с синими глазами и рыжеватыми усами. Сначала он угощал меня свежей горячей булочкой, а потом, когда узнал, что мама моя чужка, стал накладывать в тарелку целую горку всякой еды. Очень мы с ним подружились. Иногда он даже сажал меня к себе на колени и на ломаном языке, который мне особенно нравился, рассказывал о своей семье и о дочке. Так он нас подкармливал всю зиму, а весной заболел и попал в госпиталь, который был как раз напротив

нашей гимназии. В Пасхальные дни мы пошли с мамочкой навестить его. Мама подарила ему католический молитвенник, оставшийся от бабушки. А он подарил мне шелковый платочек с изображением япки, играющей на мандолине в окружении цветов. (Через 6 лет я подарила этот платок артисту Ивану Семеновичу Козловскому, который пленил мое девичье сердце.)

Силин так и не оставлял маму в покое. В комнату к нам он не проникал, т.к. мама попросила дежурного у нашего входа ногой к нам не пропускать, но он продолжал стучать в наши окна и требовать знаками, чтобы мама вышла к нему, или подкарауливал ее где-нибудь на улице.

Меня это страшно пугало и нервировало, и мамочка, наконец, все-таки решила «спрятаться» от Силина. Мы переехали с ней на квартиру к одной старухе, заняв небольшую комнату в ее маленьком домике. Даже если бы Силин узнал, где мы живем, он, наверное, не осмелился бы к нам являться и скандалить в частном доме. Но зато сюда стал приходить папа, и его разговоры с мамой, конечно, не были мирными. И я опять боялась, как бы папа не обидел маму. Вернуться к папе мама не хотела, мы так и жили с ней вдвоем. И вот в этой маленькой комнатке произошел со мной случай, произведший на меня громадное впечатление. Это было «видение», в которое я совершенно поверила. Это было так: проснувшись утром, я поняла, что мама в кухне. Я стала задумчиво смотреть на белый простенок, находящийся между боковой стеной и дверью. И вдруг я увидела, как на стене на облачке из белых паров появилась Божья Матерь в розовом покрывале на голове и голубой одежде. Лицо ее было чудно, она ласково поглядела на меня сверху, подняла правую руку и сказала: «Ты будешь в раю». Потом начала медленно тянуть на моих глазах. А я все смотрела на стену и увидела, как в дверь вошла мама. В большом волнении я сказала ей: «Мама, сейчас ко мне приходила Богородица!» Конечно, смешно было бы теперь верить в это, но тогда я ничуть не сомневалась и поверила в действительность этого «явления». А мама не старалась меня в этом разуверить. Месяца два жили мы с мамой спокойно, а в середине лета пришел папа и попросил маму отпустить меня с ним в Верхнюю Течу до осени. Мама не посмеала отказать ему в этом и, надеясь, что в Верхнюю Течу свое слабое здоровье, решила отпустить меня. Я тоже согласилась ехать с папой в деревню, вспоминаю, как мне там нравилось в первый приезд туда, когда мне было лет пять. А, кроме того, мне очень хотелось к бабушке Ксении, которая уехала в деревню еще тогда, когда мы переезжали на новую квартиру.

Поехала она туда погостить к сестрам, да так там и осталась. Ей предложили ухаживать за параличной старухой, в прошлом богатой купчихой - Марией Васильевной Титовой. Дети ее жили в других городах и не хотели брать ее к себе, вот и наняли бабушку Ксению ухаживать за ней. Мария Васильевна совсем не вставала с постели и очень невнятно говорила. Была она очень полной и, как ни странно, не могла жить без курения. Она была владелицей трех домов: одного большого двухэтажного и двух флигелей - большого, в саду, и маленького на два окошка, стоявшего рядом с высоким домом и смотрящего на площадь, как раз напротив нашего дома. Вот в том маленьком доме и лежала Мария Васильевна. В большом доме жил судья, а в розовом флигеле жила очень симпатичная и культурная семья учителя Циренщикова.

В нашем доме никто не жил. Он был заколочен. И вот сейчас я вспоминаю,

что не рассказала, что было с дедушкой Феоктистом после того, как папа увез всю его семью в город. Некоторое время дедушка жил один, а потом решил поехать на Алтай, которым он давно интересовался и слышал много хорошего о нем. Там он прожил несколько лет, влюбившись в этот край. Но потом, видимо, его все же потянуло на родину, и он покинул Алтай. Возвращаясь, он заехал к нам, в Екатеринбург. Мне было тогда четыре года. Он привез мне в подарок невыведанную шкурку горностайчика, набитую трапками, которая мне очень понравилась, и я долго ею играла, воображая, что это живой зверек.

Бабушка Анна была смущена приездом деда, тетушки не очень-то ласково его приняли, но папа был почителен и внимателен к отцу. Дед много рассказывал нам об Алтае, о его горах и красивых цветах. Потом мы пошли в фотографию и снялись: дедушка, бабушка Анна и я между ними. Потом дед уехал в В.Течу, где сошелся с одной молодой женщиной цыганского типа. Звали ее Аграфена. Видимо, она пришла к деду по душе. Он долго прожил с ней. В своем доме он не стал жить, а поселился у Аграфены. Он даже кулил себе очень скромную кобылку. Вот пока все о дедушке. Позже я еще расскажу о нем.

Когда мы с папой приехали в В.Течу, я первым делом побегала к своей дорогой и любимой бабушке Ксенья. Как мы обе были рады друг другу. Бабушка даже заплакала от радости, а я без конца целовала ее в мягкие щеки. Как хорошо было тогда на сердце! Поселились мы с папой не в нашем доме, а у одной дальней родственницы, тети Дуни. У нее было хорошее хозяйство, и мы брали у нее молоко, яички, а иногда и курочку просили нам жарить. Папа особенно любил все молочное и всегда говорил, что кроме молока с мягим калачиком ему ничего не надо. А я больше всего любила яички, и уж там-то я ела, сколько хотела.

Папа стал работать в Волостном правлении секретарем. Я ему иногда помогала, клея из бумаги конверты. В его отсутствия я, конечно, была у бабушки Ксении. Марии Васильевне я, видимо, понравилась, а я присматривалась к ней, т.к. в первый раз в жизни видела такую больную, которая только лежит и говорит настолько плохо, что не сразу поймешь о чем. Но постепенно я привыкла к ее речи. Она была завзятой курильщицей, но сама не могла скрутить себе «козью ножку». Вот мне и приходилось это делать для нее: скручивать папироску и даже раскуривать ее, а потом вкладывать в рот М.В. Характер у нее был не из легких. Если что-то было не по ней, она начинала кричать с сердитым голосом и пыталась ущипнуть за руку. Нелегко было бабушке ухаживать за ней, тем более что М.В. не всегда просилась на судно, а переворачивать такую толстую и тяжелую была очень трудно. Кормили мы ее с ложки. Для мамы ее был сделан большой стул с прорезанным кругом на сиденье, но перетаскивать ее на него было страшно тяжело. Надо было иметь бабушкино терпенье, чтобы все это переносить.

За домиком был сад, в котором стоял розовый флигель с терраской. Бабушка познакомила меня с дочерью учителя Циренщикова - Ариадной, а попросту Адошкой, очень милой девочкой, хорошенькой, беленькой и нежной. Мы с ней сразу подружились, хотя она была намного младше меня: мне было девять лет, а ей - пять. Ее мама, Вера Васильевна, была удивительно приятная и культурная женщина. Она была рада, что у Адошки появилась подруга, и всегда старалась чем-то угостить или подкормить меня. Садик был небольшой, но в нем было много сирени и кустов жасмина. Но в основном, это были березы.

Когда папа приходил домой, мы с ним обедали, а потом шли гулять в поле,

а иногда и доходили до нашего леса, который был от села в трех верстах. Леса было у нас два, и между ними протекала речка Басказык. Один лес состоял из старых толстых берез с уже почерневшими снизу стволами, а по другую сторону речки - другой, из молодых белостебельных березок. В старом лесу была одна береза, ствол которой почему-то изогнулся, и начало его было почти параллельно земле, так что можно было на него ложиться, а я и делала. Это была моя любимица. Я ее обнимала и прижималась к ней. Погуляв, надышавшись полевым воздухом, возвращались мы с папой домой, рано ложились спать и сладко спали до утра.

Но не долго длилась наша спокойная жизнь. Шла уже гражданская война, и вот однажды в селе появились казаки на конях. Они приказали папе уложить все бумаги волостного правления в ящики и немедленно эвакуироваться из села под их охраной. Пришлось папе подчиниться. Конечно, и он, и мы с бабушкой очень волновались. Папа не знал, что делать: взять ли меня с собой или оставить с бабушкой. Она уговорила его оставить меня с ней. И вот началось у меня новая жизнь с бабушкой и Марьей Васильевной. Первые дни мне было тяжело, и я плакала о папе. А вскоре пришло письмо от мамы, где она писала, что ее тоже эвакуируют из Екатеринбурга с гимназией куда-то в Сибирь. Говорилось, что это временно, пока на город наступают красные, и что когда вернутся к власти белые, гимназия будет возвращена на свое место. Но этого не случилось, и писем от мамы я больше не получала. И тут мне стало казаться, что я совсем потеряла родителей. Я стала тосковать и плакать и никак не успокаивалась долгое время. Бабушка испугалась за меня и позвала какую-то знахарку, чтобы та вылечила меня от моей ужасной тоски. Пришла женщина, наскоро поговорила со мной и на следующий день принесла мне «наговоренный» подсолнух и велела съесть из него все семечки.

Конечно, не от этого, а просто от времени я стала постепенно успокаиваться, есть и спать. И потекла наша жизнь в новой для меня обстановке, довольно убогой на первый взгляд, но о которой я вспоминала с особым теплом. Бабушка свела меня с деревенскими девочками, жившими по соседству с нашим домом, но они почему-то не сразу приняли меня в свой круг, называя меня «городской» и немного посмеиваясь надо мной из-за моих платьев. Тогда я попросила бабушку шить мне такой же сарафан, как у девочек, и не захотела больше носить «свое». Это помогло, и я стала совсемходить на деревенских девочек и перенимать у них все их словечки и повадки.

Питались мы чрезвычайно просто. Пока было лето - ели картошку и овощи с грядок в саду, засаженными бабушкой. Молочными продуктами снабжала нас Вера Васильевна Циренчикова. Иногда за деньги, чаще всего даром, просто из симпатии к нам. У них была чудесная корова, и им ничего не стоило налить нам крыночку молока или дать творога. В нашем доме в кухне стоял большой ларь, наполненный мукой (арендная плата за землю). Папа оставил нам ключ от дома, и мы брали муки сколько надо. Дети М.В. иногда присылали бабушке плату за уход за М.В., но денег тогда и тратить было не на что и негде, т.к. магазина ведь никакого не было. Время было неспокойное, не было ни соли, ни сахара, и люди жили старыми запасами и продуктами своего хозяйства. Соль варили сами, привозя воду из далекого соленого озера и выпаривая из нее соль, которая была черной и горьковатой. Чай варили морковный. Мыло тоже варили сами из кишок

животных и соды, у кого она сохранилась. Многие обходились и без мыла, пара белые в целлоке из золы. Освещались лучинами или фитильками, смоченными в постном масле. Постное масло тоже делали сами, причем трех видов: льняное, подсолнечное и конопляное. Особенно ароматным было последнее - совсем зеленого цвета. Спички тоже были редкостью, и люди старались беречь как зеницу ока каждую спичку, если они ещё остались от старых запасов. Старались сохранить угольки в загнетках русских печек и раздувать от них огонёк. Большим подспорьем в питании были кулага и сусло. Кулага - это довольно густая каша, варёная особым способом из солода и ячменной муки, тёмно-коричневого цвета и сладковатого вкуса, а сусло - нечто вроде сгущенного пива, тоже тёмного цвета и довольно сладкое, набродильное, тоже из солода и ячменя. В сусле иногда разваривалась пшеница или им заправляли какую-нибудь густую пищу.

Наверное, нигде не пекут столько пирогов с самыми разнообразными начинками, как на Урале. Это даёт возможность экономить муку и разнообразить питание. В ту пору пекли пироги даже с лесными растениями - пиканями, у которых очень мясистые толстые стебли. Мы с бабушкой ходили в лес за грибами и за пиканями и пекли из них пироги. Жирами нас снабжали родные - семья бабушки Наташи Боборовой, родной сестры бабушки Ксении, жившей в 2-х верстах от В.Течи в деревне Казанцево. Бабушка прядла для них пряжу, а они благодарили её продуктами своего крепкого хозяйства.

Семья эта состояла из бабушки Натальи, её сына - дяди Феди, его жены - тётки Паши и двух сыновей - Миши и Саши, уже подросток парней, которых отец держал в большой строгости и приучил их к добросовестному труду. Они своими силами создали свое благополучие, и я, в течение 3-х лет гостя у них, никогда не видела в их доме чужих наёмных работников. И, тем не менее, во время коллективизации их жестоко разорили, причислив к «кулакам». Не могу вспомнить об этом без боли в сердце. Я так любила гостить у бабушки Натальи! Дом у них был небольшой, на 3 окна, но довольно высокий, т.к. внизу был большой подвал и под клетью курятник. Дом состоял из избы, сеней посредине и клетки - большой комнаты, которая не отапливалась и служила как бы большим чуланом. На стенах её были развешены пучки всяких трав, издающих очень приятный запах, к которому примешивался запах хлеба. Сюда его выносили остыть после выпечки, и здесь он хранился.

В клетю же стояла кровать с красным цветным пологом вокруг неё. Как приятно было просыпаться летом от лучей солнца, проникающих через этот полог и слышать, как под клетью поёт петух, клокочит куры, крикают утки и пищат цыплята. Я выбегала во двор и кормила всё это население. Особенно мне нравились утята, которые залезали мне на ноги и щипали носами мои пуговки на туфлях, принимая их за горошинки. Бабушка Наталья всегда была ласковой ко мне и старалась угостить меня чем-нибудь вкусеньким, вроде свежих шанежек или пирожков. Я жила у неё по несколько дней, пока не соскучивалась по бабушке Ксении, которая не могла надолго отлучиться от М.В., и я бегала в Казанцево она.

Задно расскажу о монастыре. Бабушка Ксения, будучи очень религиозной, любила бывать в монастыре и познакомилась там со многими монашениками. Особенно сдружилась она со старенькой матушкой Манефой и с большой костым туберкулезом матушкой Ефимьей, которая не могла ходить, сидела в кресле на

колесиках, в котором её и возили в церковь. И вот, желая внести разнообразие в мою жизнь, бабушка повела меня в монастырь. Был он из нескольких белых каменных двухэтажных домов, утопающих в зелени деревьев, обнесённый белой кирпичной оградой. Построен монастырь был, видимо, давно, т. к. стены его были очень толстые, а в кельях сводчатые потолки. Там даже в самый жаркий день было прохладно. Окна были большие с широченными подоконниками. В келье матушки Манефы в окне стояло много высоких олеандров, и там у неё были птички. Чтобы они не вылетали, окно со стороны кельи было отгорожено сеткой с дверцей в ней. Как мне это всё нравилось! И запах в келье был чудесный - смесь мяты и богородской травы. Матушка Манефа была очень приветливой и как-то даже предложила бабушке оставить меня у неё погостить несколько дней, и вот я совсем окунулась в монастырскую жизнь. Я ходила в церковь вместе со всеми, молилась по четкам, которые мне подарила матушка Манефа. Только ела я в келье - то, что приносила мне матушка с их общего стола. Обычно это была постная пища, но какие чудесные были соленья, особенно грибы! Мне кажется, что таких я больше нигде и никогда не ела. А большую матушку Ефимью мы любили с бабушкой навещать и что-нибудь приносить ей в гостинiec. Навсегда мне запомнились её большие чёрные глаза на худом пожелтевшем лице, всегда печальные, крохотные, её тихий голос.

Теперь хочу рассказать о гражданской войне, какой она предстала перед моими глазами, не считая того, что казари увезли с собою папу. Был, наверное, конец августа. В селе знали, что где-то не очень далеко от нас идут бои между красными и белыми. Звуки боя даже долетали до нас, как очень отдаленный гром. Было тревожно. И вот как-то на рассвете, когда мы с бабушкой ещё спали, раздался громкий стук в дверь и голос: «Открывай!». Бабушка открыла, и в сени ввалились солдаты, шумные веселые, и сразу закричали: «Бабка, леки нам блины!». Притащили куль белой крупчатки и ведро топленого масла. И бабушка полдня пекла чудесные жирные блины, которыми они наелись до отвала. Таково было наше знакомство с красными. Они недолго задержались в В.Тече и уехали дальше. А через некоторое время у нас появились и белые. Солдаты к нам не зашли, а офицеры заняли большой дом, вытащили стол во двор и там пьянствовали, застрелив себе на закуску двух голубей Веры Васильевны и заставили её их зажарить. Эти тоже долго на задержались, и после их ухода наступила у нас спокойная жизнь без всяких нашествий. Ведь В.Теча была далеко от железной дороги, в 40 верстах от неё, и потому большие события проходили где-то стороной, не касаясь её. Я даже сейчас не могу вспомнить, чья же всё-таки власть восстановилась после ухода белых, потому что красные больше не появлялись. Мне, девочке 9-ти лет, конечно, много тогда было непонятно и неизвестно.

Прошла осень и наступила долгая морозная зима. Дрова были запасены ещё детьми М.В., и в домике у нас было тепло. Но мы с бабушкой всё-таки переселились спать на печку. Чтобы я зимой не скучала, бабушка купила двух курочек, а Бобровы подарили нам чёрного голландского петуха, очень крупного, с пышной короной на голове. Бабушка поместила всех троих в большой ящик с сеткой, а я поставила его в кухне под стол. Кормили мы их пшеницей, которая сохранилась немного в амбаре нашего дома. Изредка мы выпускали птиц погулять по кухне, и я с таким удовольствием смотрела на них. Вот только было досадно,

что куры почему-то невзлюбили петуха и клевали его в голову. И ещё было странно, что наш петух не пел и, может быть, из-за этого впал в немилость кур. Я тоже очень любила пеньё петухов и жалела, что наш Петя молчит. Но потом мне Бобровы сказали, что, оказывается, голландские петухи поздно взрослеют и тогда только начинают петь.

Бабушка научила меня пряхть и вязать на спицах. И вот в зимнее время, в долгие вечера сидели мы с ней при лучине и пряли. На моей обязанности было менять лучину, следить, чтобы хорошо горела, обламывая обгоревшие кончики, которые падали в тазик с водой и шипели. А мне нравилось, как иногда из горщей лучины выскакивал длинный голубоватый язычок и раздавался звук, похожий на щелчок. Бабушка рассказывала мне об Иерусалиме или о своём детстве, а я ей - то, как я жила без неё с мамой. А иногда пели с ней молитвы или какие-нибудь простые русские песни.

В морозные лунные ночи мы иногда пряли, не зажигая лучины, при луне. И вот однажды взглянув на небо, я увидела в высоте его какие-то всполохи, как голубая широкая молния. Бабушка сказала, что это «небо раскрывается». Такого раньше я никогда не видела и очень этим заинтересовалась. Потом ещё несколько раз видела. Наверно это было чем-то вроде северного сияния, вернее, его отблеска. Морозы у нас бывали сильные. Я ведь приехала в деревню без зимней одежды, и бабушка с грехом пополам шила мне шубейку из старого полушубка, который дали нам Бобровы. Нельзя же было сидеть дома, когда девочки ходили кататься на санках с горы почти до самой реки Течи. Это было большое удовольствие. А, кроме того, мне приходилось разгребать снег на дорожках в нашем садике. Промёрзнешь, бывало, основательно, и лезешь на печку отогреться. Очень я её любила. Спать, конечно, приходилось без всяких простынок под деревенским лоскутным, шитым бабушкой, одеялом. А ещё печка служила нам «баней» и лечебницей от простуды. Бабушка настилала доски на горячий подпечек. Я вползала в неё задом наперёд и брала с собой чашку с водой, брызгала водой на стены печки, а бабушка закрывала меня заслонкой. Вот уж я так распаривалась как парника! Потом бабушка быстро обставляла меня горячей водичкой, и я лежала на печь обсыхать. А вот мытьё М.В. доставляло нам столько труда! Надо было поднять её и усадить в кресло с дырой в сиденье. И мыться она не любила, капризничала. Конечно, у неё были отклонения от нормальной психики.

Бабушка варила мне «жвак», который я так любила жевать, и он, наверно, спасал мои зубы, т.к. тогда нечем было их чистить. А жвак делался таким образом: в глиняный горшочек с дыркой на дне плотно набивалась чистая береста. Горшок плотно закрывался, даже, кажется, обмазывался сверху тестом и ставился на другой горшок, наполненный водой. Всё это сооружение задыгивалось в очень горячую печь и выдерживалось там долго. И вот из верхнего горшка в нижний капал чёрный густой сок, который потом при охлаждении становился твёрдым и вязким. Вкус его отдавал деготьком и был даже слегка сладковатым. Какое удовольствие было его жевать! И, кроме того, он помогал при прядении, вызывая обильную слюну. А она была нужна для смачивания кончика веретена и скручивания пряжи.

Помню я наше с бабушкой Рождество (25 декабря). Маленькую ёлочку дали нам Циренчиковы, а вот украшений у нас совсем не было. Тут уж бабушка

изошлялась: мастерила из соломинок фонарики, из высосанного яйца - птичек с яркими тельцами вместо перьев. Сладкого ничего не было, так она напарила морковных и свекольных гарёнок и развесила их на веточках. И ещё она напекла маленькие заварные крендельки, которые я очень любила, и тоже повесила их на ёлочку. И праздник наш получился радостным.

Но самая большая и неожиданная радость была ещё впереди, когда дядя Федя Бобров привёл нам молодую телочку в подарок. Она была стельная и вскоре должна была отелиться. А была она очень маленькой, темно-коричневой с черной шерстью на хребте и около ног, и почему-то она была лохматая необыкновенно. В общем, вид у нее был забавный. Мы поместили ее в конюшню во дворе большого дома. Дядя Федя же привёз нам воз сена, и начали мы с бабушкой любовно кормить нашу Маньку, как мы ее назвали. Радости моей не было конца! Я постоянно бегала в конюшню, гладила Маньку и подкармливала её из рук хлебом. А бабушка делала для неё поило из отрубей. И вот месяца через два наша голубушка отелилась телочкой. Бабушка сразу же принесла телёночка домой, так как были морозы и нельзя было оставлять малышку с матерью. А вскоре дядя Федя забрал её у нас, сказав, что они будут вскармливать её молоком, и чтобы Манькино молоко мы пили сами. Молока она давала немного, но нам вполне хватало. А в марте, когда морозы уже прошли, мы стали выпускать наших курочек и Петю во двор погулять. И вот тут-то Петя нас насмешил. Вдруг он закукарекал, как это делают совсем молоденькие петушки. Невозможно было смотреть без смеха на рослого гордого красавца, чёрные перья которого отливали зеленым цветом, как он вытягивал шею и издавал какой-то беспомощный хрипловатый крик. Но зато потом он так распелся и пел так красиво, с какими-то переливами, что его голос я узнавала издаലെ среди пенья других петухов. Надо сказать, что пенья петухов я особенно люблю, и оно даже волнует меня как звуковая эмблема деревни, оставившая глубокий след на всю мою жизнь.

Частое беганье во двор большого дома натолкнуло меня на одно очень приятное открытие. Я не написала о том, что судью, жившего в этом доме тоже казаки заставили эвакуироваться, и дом пустовал. И вот как-то раз я решила зайти и осматреть его. В комнатах было пусто, а в чулане я обнаружила много книг, сваленных на пол в полном беспорядке. Я стала рыться в этой куче и нашла «Рики-Тики-Тави» Киплинга, «Маугли» и ещё много разных книг для взрослых, в том числе и «Декамерон» Боккаччо, в которых были картинки, заинтересовавшие меня.

Вот с этого момента и началось моё увлечение книгами. «Библиотека» была большая, и я пользовалась ею в течение тех двух лет, что прожила в деревне. Наверное, тогда я испортила себе глаза, часто читая в сумерках или при свете салника. В 13 лет я уже должна была одевать очки, т.к. в школе даже с первой парты ничего не видела на доске из-за близорукости.

Была ещё зима, когда к нам из Анчуговой приехала сестра бабушки Ксени, бабушка Евдокия, и увезла меня к себе погостить. Они с дедушкой Степаном закололи быка и хотели меня подкормить. Жили они в очень маленькой избушке с крохотными подслеповатыми окнами. Бабушка была ещё довольно подвижной старушкой, а дед Степан был совсем старый и очень ругательный. Но не потому, что он был злой, а вот любил употреблять всякие крепкие словечки. Думаю, что он не очень был охоч до работы, потому что они жили бедно, наверно, всю

жизнь. Детей у них не было. Была собачка Кукла - маленькая, чёрная, с выпуклыми слезящими глазами, тоже старенькая, но дед её любил, хоть и ругал постоянно, а она преданно и стеснительно моргала и жалась к его старым валенкам. Я, конечно, подружилась с Куклой, жалела её и подбрасывала иногда тайком лакомые кусочки мяса или пирожка. А уж меня бабушка Евдокия кормила на славу. Во-первых, чудесными пельменями, замороженными в чулане в большом количестве и звеневшими как стеклянки, когда их приносили в избу. А во-вторых, пирожками с мясом каждый день. Рано утром, когда ещё в окнах было чернота, а мы с дедом спали, бабушка начинала встать у печки, затопляя её и стряпая пирожки. И вот вскоре раздавался звук шипящей сковородки, и по избе распространялся такой вкусный дух, что мы просыпались и слезали со своих спальных мест: дед с печки, а я с кровати. Надо сказать, что даже кровати не было в избе. Её некогда было поставить. Вкруг избы была сплошная лавка. Зимой старики спали на печке, а лето, если было жарко, на лавке или на полу. Дед часто смешил меня тем, что постоянно, разогревшись на печке, слезал с нее, ругая на чем свет стоит бабушку за то, что сильно натопила, валится на лавку или даже на пол, подстелив полушубок, но быстро остывал, опять ругался, что замерз, и лез обратно на печь. Бабушка рассказывала мне, как однажды дед так угорел в бане, что его принесли в избу без чувств, положили на лавку, а он, отлежавшись немного, вскочил и, бормоча: «Поварюсь еще», полез на печь, вообразив, что он в бане.

Тогда вот, вставали мы с ним и, поплескав себя в лицо холодной водой из всячего чугунного чайника-рукомойника, садились за стол, где уже дымились гуща румяных пирогов. Они были такие вкусные и жирные, что сало текло по пальцам. Прожила я у бабушки Евдокии неделю, а потом соскучилась по бабушке Ксенье, по Маньке и попросила отвезти меня домой.

С грустью я расстаюсь с воспоминаниями о нашей с бабушкой Ксений жизни. Скоро это кончилось. Неожиданно в мае месяце в В.Течу приехала крестная Катя с мужем и Наташа. Мужа звали Иван Иванович Одер. Он был военнопленным венгрон-мадяром. Крестная недавно вышла за него замуж. Это был человек довольно жесткого и решительного характера, но хозяйственный и деловой. Они сразу открыли наш дом, все в нем вычистили, перемыли и меня взяли туда от бабушки, чему я, по правде говоря, не была рада. Им не понравилось мое превращение в деревенскую девчонку. Сарафан был снят и одето все городское. Я была тщательно вымыта и вычесана, т.к. за зиму в волосах поднакопилось не мало «квартирантов», что в ту пору было редкостью. Для меня устроили отдельную постель, накрыв ее чистыми простынками, а одеяло сделали из пуховой подушки и бязевого чехла.

Тут я должна признаться, что когда я легла на все такое чистое, мягкое и теплое, то я испытала настоящее физическое блаженство, хотя мне было грустно без бабушки. И вот началась моя новая жизнь. Тетушки мои были сердиты на бабушку за то, что она меня так сильно запустила, и даже не позволяли быть у нее подолгу. Только по утрам я пила молоко, т.к. Маньку тоже перевели в конюшню нашего дома. Мне было обидно за такое отношение к бабушке, но она уговаривала меня не обижаться и слушаться всех, с кем живу. Иван Иванович был очень деятельным человеком. Вскоре же по приезду он купил 3-х поросят и стал кормить их мукой из нашего лаяра.

Бабушку это беспокоило и огорчало, но она не смела возражать. А жестокость Ивана Ивановича проявилась в том, что он сделал специальный кнут, которым можно было поросат, когда они подходили к крыльцу и просили еды. Я за это его возненавидела и не умела сказать это. Он вообще чувствовал себя хозяином и любил командовать мною, посылая меня пасти поросят и грозясь выбросить мои игрушки, если я не буду ему подчиняться. Он говорил: «Нинушка много ест и мало работает!» Правда, надо сказать, что сам он ленивым отнюдь не был и навел в нашем дворе порядок, сделав изгородь между огородом и двором и поставив уборную из самана, сделанного им же. И еще он умел плести чудесные корзины из ивовых прутьев и продавал их местным хозяйкам. Таким образом, он вносил свою лепту в наше хозяйство. А крестная брала заказы на пошивку одежды и прилично зарабатывала. Только мы с Наташей не приносили никакой прибыли в дом.

Вскоре после приезда крестная купила черненюкую овечку, которую мы назвали Марькой. Жила она в одной комнате с Манькой, и так они сдружились, что не могли жить друг без друга. Если почему-либо одну из них угоняли в стадо, а другая была заперта в конюшне, то это был рев на целый день. И в стаде Марька всегда трусилась рядом с Манькой. Коров пасли мои подружки-девчонки, и мне тоже захотелось с ними. И как-то мне это разрешили, дав мне на целый день бутылку молока, и на зарьке мы с девчатами отправились вслед за стадом. Погнали как раз на наш луг около реки Басказик. Так ярко запомнился мне этот день! Место было удобное для пастыби, коровы не разбредались, и мы занимались, чем хотели. Играли в «ляльки» или «пятнашки», как называли еще эту игру, валялись в траве, жгли костер, курили какие-то твердые стебли травы. Потом наклоняли молодую гибкую березу, связывали ее длинные ветки, устраивали сиденья из них и качались как на качелях. День был жаркий, и мы с удовольствием бродили по речке, а иногда и садились в нее, где было совсем мелко, и «завтракали», макая хлеб в сладкую воду. А еще играли в «галки»-игру, которую я до тех пор не знала. В общем, за играми и забавами день прошел незаметно. Солнце стало садиться, и мы погнали стадо домой. Моя Машка шла где-то впереди стада, и я спокойно шла с девчонками сзади. Пришла я домой радостная, хоть и устала немного. Захожу во двор, а меня спрашивают: «А где же Манька?» - «Как, разве она не пришла?», - говорю я в растерянности. И тут все стали надо мной смеяться. «Вот так пастух! Пропас корову! Ищи-ка поди теперь ее». Я побежала искать. Были уже сумерки, и я еле-еле нашла Маньку. Она стояла у плетня в одном из переулков и мирно жевала явчакку. Вот как она меня подвела, негодница. А я еще несколько дней «пастушила», но уже не спускала глаз с Маньки.

А потом, к осени ближе, случилось ужасное. Появился в селе ящур, эпидемическая болезнь животных. Однажды крестная заметила, что Манька прихрамывает, и не пустила ее в стадо, а к вечеру второго дня Манька наша уже лежала мертвая во дворе с вздувшимся животом и поднятой вверх одной ногой. Зрелище было ужасное, и я горько плакала. Марька каким-то чудом уцелела, а свиней Иван Иванович зарезал, боясь, что они тоже пропадут. Ужасное это было бедствие для многих. А тут еще засуха, и жить становилось труднее. Мука почти вся была скормлена свиньям, а взять ее больше было негде, т.к. был неудожай. Крестная старалась получать от заказчиков «натурой», но их тоже становилось меньше, чем прежде. Хорошо, что крестная купила себе другую корову, а то

совсем бы худо было.

И вот, как бывает всегда, когда есть недостатки, появились в доме и неприятности. Иван Иванович намекал крестной, что мы с Наташей два лишила рта, и почему они одни работают и кормят нас. Наташа это чувствовала и решила уехать куда-нибудь работать учительницей, взяв и меня с собой. Она списалась с разными селами и узнала, что в селе Иванцевском нужна учительница. И вот, уже зимой, поехали мы с ней на лошадах верст 100 в сторону Шадринска. Было очень холодно, и мы лежали в санях, закрытые тулупами. Но все-таки доехали до Иванцевского, не протрудившись. Там нас поместили в один большой дом, хозяева которого были старообрядцы. Комната была большая, холодная, но очень чистая. Старуха-хозяйка была удивительно сухая, черствая, необщительная. Из своей посуды она дала нам только одну крынку и горшок и то неохотно. Ведь старообрядцы считают всех иноверцев погаными. В сельсовете Наташе выдали причиняющие большую боль. Наташа мазала их йодом, что было очень мучительно. Школа была тоже своеобразная. В ней было только две комнаты, где занимались сразу по два класса в каждой. У Наташи были 1-й и 2-й, а у другой учительницы 3-й и 4-й. Оттапливались классы одной круглой печкой, но она плохо обогревала, и в школе было холодно. В комнате нашей тоже было холодно, и я часто болела, сидя дома. Хорошо еще, что я сдружилась с хозяйской внучкой и залезала иногда с ней на печку.

Но дома для меня было мучительно то, что я постоянно была голодна, а хозяйка варила свою вкусную пищу и пекла чудесные калачи, которые так и дразнили мое обоняние. Я очень ослабла тогда, и вот однажды у них в кухне я упала в обморок. Старуха догадалась от чего это, отломил кусок калача и сказала: «На, вот, поешь. Потом отдушь». Как будто она не знала, что отдавать мне нечем. Также мне вспомнить наше житье в Иванцевском. Еле-еле дотянули мы до весны и поехали домой не с легким сердцем, зная, что радости мы своим приездом не доставим никому, кроме бабушки Ксени, по которой, конечно, я очень соскучилась. А вскоре был объявлен обмен военнопленными, и Иван Иванович уехал в свою Австро-Венгрию, оставив крестную в ожидании ребенка.

В Свердловске жили только Тонечка и бабушка Анна. В жизни Тонечки за время нашего отсутствия произошло громадное событие! У нее родился мальчик - Смарагдик. Замуж Тонечка из-за своей стеснительности так и не вышла. Но ребенок этот не был плодом случайности, а был «задуман», «выпрошен», если можно так выразиться.

На службе у Тонечки был один человек очень порядочный, симпатичный и обязательный. Он был женат. Но это не помешало Тоне сказать ему, что она хотела бы иметь от него ребенка. Настолько сильно у нее была жажда материнства, что она доверилась этому человеку и не постеснялась сказать о своем заветном желании. Он ее понял по-хорошему и пошел ей на встречу. Кажется, даже его жена знала об этом и не осудила Тону. Видимо, она была настоящим человеком. Через некоторое время ее постигло горе: муж ее умер. Тонечка тяжело переживала это и разделила горе жены, навеяв иногда даже

вместе с ней его погилу.

А Смарагдик рос помаленьку. Бабушка Анна нянчилась с ним. Но условия жизни были плохие. Дрова доставали с трудом, в квартире было холодно. Мальчик начал уже ходить за стульчиком на колесиках. Пол был ледяной, т.к. внизу была неотапливаемая лавка. Ребенок простудился, заболел воспалением легких и умер. Мне даже страшно было сейчас написать это слово и представить себе громадное горе и боль Тонечки. Как это все отразилось на ней, я напишу позднее.

Крестная, узнав о смерти Смарагдика, решила вызвать к себе бабушку Анну в предвидении появления ребенка. Та приехала, а Тонечка осталась одна в трехкомнатной квартире без близких, без друзей, которых она как-то не умела заводит. И вот наступила весна. Мы с Наташей стали заниматься огородом, копать и сажать овощи. Какой аромат тогда шел от нашей черноземной земли. Вспахивая луковую грядку, я находила иногда перезимовавшие луковки, на удивление сладкие, которые я ела как лакомство. До чего же хотелось тогда хоть чего-нибудь сладенького. Язвочки мои на деснах постепенно прошли. Ведь дома была своя корова, да и зелень появилась. Стали есть щавель, но с хлебом еще было туговато. Пекли его с отрубями, а иногда и с лебедой.

Стала я опять играть с девочками из соседних домов. Поинко, как во двор одной из них привезли срубленные березы, и мы набросились на них, как козы. Сдирали кору с берестой, а под корой был гущенный березовый сок, который мы скоблили ножом. Он казался нам необыкновенно вкусным и сладким. В лесу уже можно было находить пеньки, наполненные березовым соком или дерево с подвешенной баночкой для сока. Общаюсь с девочками, я, видимо, от них заразилась корью. В нашей комнате печка стояла изолированно от стен, и позади нее была кровать, куда меня поместили, отгородив занавеской от света. Там я и переболела этой тяжелой, из-за высокой температуры, болезнью. А в июне родилась у крестной девочка, которую назвали Калерией. Роды продолжались очень долго и мучительно. Ведь крестной тогда было, наверное, лет 40. Меня отослали к бабушке Ксенье, и я с волнением и нетерпением ожидала столь важного события. Но, наконец, это свершилось. Девочка была крупной и беленькой. Ее крестной решили сделать меня, и я этим очень гордилась. Я бегала на речку стирать пеленки и помогала нянчиться с Калюшей.

Лето в тот год было чудесное. Иногда выпадал целый ряд дней, когда в полдень налетала грозовая туча, обильно поливала землю и уносилась дальше, а солнце так грело после этого, что казалось, будто пар поднимается в воздух полный запахом свежей травы и земли. А как я любила смотреть, как в солнечные праздничные дни шел народ из церкви под колокольный звон. Такое было разноцветье бабьих сарафанов, фартуков и платков. И как яростно блестяли галши на сапогах мужчин. Это был особый шик.

Любила я нашу церковь. Особенно второй этаж, где служили только по праздникам. Очень красивые были там иконы. Лики их были какие-то светлые, ясные, и мне хотелось любоваться ими как картинами. Хоть власти и менялись, но с церковь никогда не закрывалась. Но вот сейчас я вспомнила, что с церковью связаны у меня и печальные воспоминания. Зимой к ней подвозили иногда по несколько гробов, т.к. тиф не миновал и нашего села. Иногда вымирали целыми семьями. И вот гробы стояли у церкви, дожидаясь своей очереди отпевания. По счастью, тиф нас не коснулся, но я и сейчас посылаю ему проклятия. Потом вы

поймете почему.

Этим летом мы, наконец, получили письма от папы и мамы. Папа после долгих переездов по разным местам попал в город Николаев, где и осел на некоторое время, купив себе лошадку и сделавшись извозчиком. В те годы трудно было найти себе работу. Была разруха, голод, и, особенно на юге, бесконечные перемены властей на местах. Папа писал, что как только все уляжется, он постарается пробраться домой. Просил писать ему на адрес квартиры, где он жил.

А мамочкино письмо пришло из Семипалатинска, куда завезли гимназию со многими ее преподавателями. Там они натерпелись голода и холода, и пока выехать оттуда не было возможности. Но я, конечно, была очень благодарна обоим письмам и надеялась на встречу с моими дорогими. Наташа, не желая быть обузой для крестной, уехала в Екатеринбург в надежде устроиться там на службу, но это ей не удалось. Узнав случайно от своей гимназической подруги, жившей в Самаре, что там можно устроиться на телефонную станцию, Наташа уехала туда и прожила там полтора года. Остались мы вчетвером: крестная, бабушка Анна, Каля и я. Без дела я не сидела: то нянчилась с Калюшей, когда бабушка готовила нам незатейливую пищу, то помогала крестной, распырявая старую одежду заказчиков или обметывая швы. Впоследствии, уже став взрослой, я очень жалела, что упустила возможность научиться от крестной шить.

Время летело быстро, и то лето не оставило в моей памяти глубоких следов. Но один необычный день для меня запомнился, и его я вспоминаю с удовольствием. Позади нашей церкви была пожарка с каланчей, дежурство на которой несли сами жители села по очереди дворов. И вот как раз дошла очередь до нас, а послать дежурить, кроме меня, некого было. Нужно было отдежурить сутки с утра и до утра следующего дня. Вот и снарядили меня, 10-ти летнюю девочку. Дали мне картошки, молока, кусочек хлеба и подстилку - старую домотканую дорожку. А для ночи - пальтущку, чтобы не замерзла, т.к. ночи у нас на Урале почти всегда прохладные.

И вот с интересом и с удовольствием полезла я на каланчу. Вокруг нее был узкий балкончик с железным полом. Вот и надо было там ходить и смотреть кругом. Когда я вышла наверх и огляделась, чувство радости охватило меня. Так было приятно смотреть сверху на дома и улицы села, на поля и перелески, видимые за ними. День был солнечный и теплый, и ветер обдувал меня со всех сторон. Дали казались в каком-то легком тумане.

Сначала я ходила и ходила кругом, внимательно глядя вокруг и созная всю важность своей «высокой» миссии, но потом, конечно, устала и стала присаживаться на коврик. Со мной была книжка, и я даже читала немного, чтобы не скучать. Надо сказать, что время тянулось, конечно, долго. Но вот солнце пошло на закат. Пригнали домой стадо, и слышно было мычание коров, блеяние овец, голоса хозяек и звон подойников. Опустились сумерки, и скоро я оказалась в темноте. Надо сказать к своей чести, что я не спала всю ночь и время от времени ходила и смотрела кругом. Но ночи у нас короткие: не успела одна заря потухнуть совсем, как вскоре порозовел край неба, и начало подниматься солнышко. Вот тут уж я наслушалась разных звуков, таких любимых моих: пение петухов, скрипы ворот и колодцев, мычание скотины, голоса проснувшихся людей.

Многом продоронув за ночь, я радостно встретила солнышко и грелась в

его лучах. Тут пришли меня сменить, и я побежала с чувством гордости от выполненного долга. Больше мне уж никогда не удавалось быть «пожарником».

Вспомнилось мне, как я с девочками бегала кутаться в Тече, полоскать там пеленки и чистить самовар красной гущей и песком. Так, бывало, его начистишь, что глазам больно смотреть, как он блестит на солнце. Теча наша была не очень широкой, но и не узкой, но коровы и свиньи ее переплывали. На другом берегу были луга, куда они и стремились. Много плавало по реке и гусей, и уток, а по берегу бегали очень милые и забавные птички - трясогузки бело-серого цвета с длинными качающимися хвостиками.

Но лето прошло, и наступила осень - пора уборки огородов. Урожай в том году был хороший. Мы все много трудились, но зато запасы сделали на всю зиму. А поздней осенью соседи, которые сеяли на нашем поле, привезли нам муки и пшеницы. Дядя Федя Бобров с ребятами готовили нам дрож. Можно было спокойно зимовать. Калюша наша была здоровенькой и хорошо развивалась. Она была прелестным ребенком - бело-розовая толстуха с пепельно-золотистыми кудряшками и с румянцем на щеках.

Зима была спокойной и мирной. Помню, как мы с крестной пели дуетом песни и даже отрывок из какого-то оперного хора, который мне очень нравился. Голос у крестной был хороший, как и у Наташи. А вот у Тонечки почему-то не оказалось музыкального слуха, хотя она любила музыку.

Забыва я еще написать о дедушке Феоктисте. Он так и жил в В.Тече, но с нами мало общался. Но на внуку приходил посмотреть. Обзавелся он лошадкой и ездил на ней по деревням, занимаясь каким-то своим делом. Зимой, когда я отпрашивалась сходить к бабушке Наталье, он не раз меня подвозил попутно на розвальнях, мне доставляло большое удовольствие прокатиться на «кобылке», как я ее называла.

А один раз так получилось, что ехали мы с дедом и Аграфеной из Кизанцевой, а бабушка Анна шла откуда-то по дороге. Поравнявшись с ней, дед пригласил ее подсесть к нам. Бабушка была смущена, но все-таки села в розвальни. Ехали все молча, т.к. говорить было не о чем. А мне было жаль бабушку и странно, что два человека, у которых было пятеро детей, стали совсем чужими друг другу.

В Рождество была у нас маленькая елочка на столе, вся обвешанная разноцветными лоскуточками, на которые тарщила глазки 6-ти месячная Калюша, уже сидящая в кроватке. Так прошла зима, и наступил апрель. В Великий пост я захотела попроститься хоть недельку-две, а потом причаститься, как полагается перед Пасхой. И вот наступила последняя неделя поста - «Великопостная», как ее называли. Дни этой недели тоже назывались «Великими». В Великий четверг я собралась идти в церковь на причастие. Как сейчас все помню. Крестная одела на меня мое городское розовое легнее платье и что-то поправляла в нем на мне. Она, наверное, удлиняла его, т.к. я выросла за 2 года. И вдруг она обратила внимание, что кто-то подъехал к нашему дому. Выглянув в окно, она закричала: «Винусь! Посмотри, кто приехал!». И я увидела маму, сидящую на телеге. Как я кинулась бежать к ней! Я даже описать не могу свою радость, свое счастье! Я и сейчас плачу. Мама тоже заплакала, прижимая меня к себе и целуя. Даже бабушка и крестная не могли удержаться от слез, наблюдая нашу встречу.

Потом мама вошла в дом и, увидев Калюшу, сказала: «Катя, какой

прекрасный у вас ребенок!». Узнав, что я собиралась к причастию, мама пошла в церковь со мной, и мы там обе помолвились, благодаря Бога за наше счастье быть вместе. Мама поставила свечки перед иконой Божьей Матери, я причастилась, и мы вернулись домой. Целый день я была в каком-то теплом тумане от счастья. Я не отходила от мамочки и держала ее за руку. Так мы с ней пошли посмотреть нашу усадьбу. За амбаром, в огороде лежала большая колода, из которой в далеком прошлом поили лошадей. Мы с мамой сели на нее и она сказала, что хочет со мной посоветоваться о чем-то очень важном для нас. Узнав, что у нас есть адрес папы, она спросила, как бы я посмотрела на то, если бы она написала папе и попросила бы его вернуться к нам, чтобы жить опять всем вместе.

Что я могла сказать ей на это, кроме того, что я очень «того хотела». Потом мы пошли к бабушке Ксенье. Она очень взволновалась, увидев нас обеих вместе, и тоже всплакнула. А я рассказала маме, как мы тут жили с бабушкой, и как хорошо мне было с ней. Мама поблагодарила бабушку, поцеловала. Мне грустно было расставаться с моей любимой, но радость все переислила. Через два дня мы с мамой покинули нашу В.Течу и поехали в Екатеринбург.

Теперь я должна сказать, что Силин Николай Александрович, прожив у тети Тони как квартирант некоторое время, женился на ней, а мамочка вернулась сюда же, в дом своей матери бабушки Анны Францевны. Больше жить ей было негде. Все прошлые переживания были зачеркнуты и отношения были серьезные и корректные.

Н.А. уважительно относился к маме, и тетя Тоня была спокойна. Жизнь в городе была очень трудной, голодной. Работать было негде. Деньги обесценились. В магазинах пусто. Даже соли не было, не говоря уж о сахаре, хлебе и крупах. Все это можно еще было купить на рынке, но стоило все неизмеримо дорого. Гимназии уже не было, да и здоровье у мамы после эвакуации очень пошатнулось, и не было сил для работы. Врач сказал ей, что она должна больше лежать, не переутомляться, а если нужно постирать, то делать это сидя.

Денег у нас не было, и пришлось продавать на толкучке все, что только можно. Мы носили туда мое детское белье и платица, посуду и книги. Я помню, как мне пришлось отдать свою любимую книжку «Аленький цветочек» - чудесно оформленную в немецком стиле. Как ни странно, все персонажи были в старинных немецких костюмах, а вместо «чудища» был громадный медведь. Особенно нравилась мне картина, где дочь купца, золотоволосая красавица с жемчужной сеточкой на голове и пышными буфами на рукавах, пила кофе из чудесного сервиза, сидя за круглым столиком вместе с громадным бурым медведем. Так вот эту книжку я отдала какому-то мальчику за 2 столовые ложки соли.

В ту пору горожане ездили в деревни и обменивали там предметы городского производства: одежду, обувь или даже просто всякую мелочь, вроде крестиков, булавок, ниток, иголок, сереек, лент, резинок и т.д., на продукты сельского хозяйства. Это называлось мешочничать. Так вот Николаю Александровичу пришлось этим заниматься, чтобы мы могли как-то существовать. Мама чувствовала себя неловко и решила хоть на какое-то время уехать к тете Ане Ван-дер Беллен. Жили они на приiske воле г.Кувши. Сам прииск был уже закрыт, но люди, поселившиеся на нем, жили там, ездя на службу в г.Кувшу. Я уже писала о том, что семья у тети Ани и дяди Пети была большая: пятеро детей и их двоюродный сын Сережа был уже юнойей, а младший - Вегенька, мой крестник,

был еще совсем малыш лет 3-х. А средние были девочки Валя, Лена и Верочка, моя ровесница, которая гостила у нас в мои еще счастливые годы детства.

На приске было 5 домов. Кругом был лес преимущественно лиственный с большими лужайками или, вернее сказать, лугами, поросшими густой травой с ключиками холодной воды, бьющими из-под земли, и с комарами, которые изрядно нам досаждали. Дом тети Ани был довольно большой, но очень старый, вросший в землю, со скрипящими половицами. Обстановка была самая простая, даже, можно сказать, бедная. Жили они, не считая скромного жалования дяди Пети, своим хозяйством. Была лошадка, корова и курочки, но их было немного, т.к. время было тяжелое и кормить кур было нечем. Хлеб, который у них еще оставался, они растягивали, как могли, деля его на пайки и выдавая нам по кусочку на день.

Думаю, что в душе, наверное, они не очень-то обрадовались нашему приезду, но тетя Аня как будто рада была повидаться с сестрой. Питались в основном грибами, жаря их во дворе на костре в громадной сковороде. Грибов в лесу была масса, и мы, дети, все время ходили их собирать. Но кроме грибов там была и масса змей. Однажды, когда мы все ходили в лес погулять, мама наступила на змею, лежащую на дороге и в сумерках не заметную. Мы все, конечно, испугались и убежали с того места. И мы с Верочкой, днем идя по лесу, увидели на мостике греющуюся на солнце змею, которая при нашем появлении подняла голову и зашипела. Мы завизжали от страха и помчались прочь. Старшие дети косили на лугах траву и часто под валками обнаруживали змей, которых убивали граблями. А как-то на огороде около дома я нашла змеиную кожу, сброшенную при линьке. Она была узорная, прозрачная и походила на чехольчик от зонтика.

Конечно, пожить на природе было приятно и интересно, но все-таки я с грустью вспоминаю наше пребывание на приске. Никакого веселья там не было и не могло быть из-за постоянной заботы о добычании пищи, от чувства недооказания и неудовлетворенности всего организма. Прожив там месяца полтора, мы вернулись домой. Помню, вот тогда я впервые попробовала помидор, которого совсем не знала. Его купила мама на рынке.

Не знаю даже, как мама решила, но ей захотелось, чтобы я начала заниматься музыкой. Она отдала меня учиться к одной старушке, которая брала за месяц 2 фунта муки, т.е. 800 г. Рояль наш был в квартире на Харитоновской улице, где теперь жила одна Тонечка уже после смерти своего Смагардика. Чтобы заниматься музыкой, мне нужно было пройти несколько кварталов от Луговой улицы, где мы тогда жили. Не могу сказать, что занятия муз. музыкой шли успешно. Иногда я не могла ходить к Тонечке учиться уроку, т. к. время шло уже к осени, а на Урале в это время бывали частые дожди.

Письмо папе мамочка написала, но ответа она так и не получила. С письмом этим произошел роковой случай, без которого вся наша жизнь могла стать совсем иной. В это время папа переехал со своей квартирой на другую, но просил сохранить письма, пришедшие на его имя. Письма мамы дошло. Хозяйка положила его за божицу. Спустя некоторое время зашел папа и спросил, не приходили ли письма для него. Хозяйка ответила, что есть одно письмо. Сунулась за икону, но письма там не оказалось. Всей семьей стали искать его, а потом старуха-бабушка сказала, что она выбросила какое-то письмо, думая, что оно уже прочитанное. Была она неграмотная, и не знала, что это письмо для папы. Вот так папа не

прочел его, не откликнулся на призыв мамы. Он потом говорил, что, конечно, сразу же приехал бы к нам. И не случилось бы того страшного несчастья, которое нас уже поджидало.

Прошла осень, трудная, полуголодная. Николай Александрович так и мешочничал, как говорится сейчас, с переменным успехом. С этим становилось все труднее. Вагоны товарных поездов были набиты «мешочниками». Крестьяне становились все скупер на обмен. Подошел уже ноябрь. И вот как-то, вернувшись из поездки, Н.А. почувствовал себя плохо и слег с высокой температурой. Тетя Тоня много работала на своем телеграфе, иногда и по ночам дежурила и не могла ухаживать за больным. Пришлось сделать это маме. Врач определила возвратный тиф. Возвратным он назывался потому, что он делился на 2 этапа. Сначала первый, потом он проходил и через небольшой промежуток времени наступал второй.

Мама выходила Н.А., а сама заразилась и тоже слегла. Теперь уже ему пришлось ухаживать за ней. Болезнь протекала тяжело, но первый приступ прошел. Потом начался второй, мамочка совсем ослабла. Она лежала в жару молча и никогда не подзывала меня к себе, боясь, по-видимому, чтобы я не заразилась.

Так она и скончалась, не поговорив со мной перед смертью. Умерла она тихо, без агонии. Мне и сейчас страшно, что я не кричала и не плакала даже тогда. Нашло на меня какое-то ступение. Похороны были убогими. Не на что было хоронить, и тетя Тоня отдала мамину шубу одному из соседей. Тот достал гроб и лошадь с розвальнями. Пришли соседи, которых я даже и не знала, священник и доктор, лечивший маму. Помню, как доктор сказал, что мамочка умерла не столько от тифа, сколько потому, что у нее не выдержали легкие, и, показав на меня, сказал: «Эта такая же». Священник поел свои погребальные молитвы, покинул кадилон, получил от тети Тони какую-то мзду и ушел. Открытый гроб с мамой поставили на розвальни, посадили меня рядом с ним и поехали на кладбище. Был очень сильный мороз. Лицо моей дорогой совсем застыло, пока везли, и снежинки, изредка падавшие, на нем не таяли. Когда я перед погребением поцеловала маму в лоб, он был твердым, как камень, и холодным, как лед. И я не могла говорить о маме, о моей потере, без слез. Уж очень я любила маму. Причем, любовь моя была какая-то благоговейная. В наших отношениях не было и тени «панибратства», как иногда бывает между детьми и родителями, может это происходило от того, что мама очень мало со мной бывала. И, кроме того, она сама была очень тактичным, ровным человеком, и я никогда бы не позволила себе не послушаться ее или капризничать. Но иногда мне казалось, что мамочка меня любит не так сильно, как мне бы хотелось. И тогда я со слезами спрашивала об этом. Она успокаивала меня, притасков. Называла она меня всегда ласково «Нинусей». Вот и теперь, в свои 73 года, я не могу удержаться от рыданий, когда пишу все эти строки.

В то голодное время «поминальные» обеды редко кто мог сделать. На это даже и не рассчитывали. После похорон на кладбище все, кто помогал, сели на розвальни, доехали до нашего дома и разошлись по домам.

Вспоминаю это тяжелое время, я не могу не вспомнить моего друга Володю Силна, младшего брата Н.А. Вся семья Силиных переехала из Сургута в Екатеринбург. Она состояла из родителей, 2-х дочерей и сына Володи, рослого

14-ти летнего мальчика. Все они были очень крупные, белотелые, черноволосые и чернобровые, как и Н.А. Володя был очень добродушный паренек, он любил и пошалить, и помяться. Ко мне он относился с какой-то бережностью. Приходил он к нам часто, чуть не каждый день. Во время болезни мамы и особенно после ее смерти он всячески старался меня развлечь, придумывая разные игры. В день смерти мамы он тоже был со мной и даже ночевал у нас. Его я вспоминаю с благодарностью за его чуткость.

Я еще ничего не писала о моей учебе. 3 сентября 20-го года я поступила учиться в школу №42, расположенную довольно далеко от нашего дома в бывшей частной гимназии Нелькиной Любови Сергеевны. Гимназию превратили в школу, а ее сделали директором школы и дали ей в ее же доме, т.е. в здании школы, две небольшие комнаты. Детей у нее, кажется, не было, но было 3 сестры. Одна из них, Инна Сергеевна Архипова, была оперной певицей, так же как и ее муж - Борис Аполлинарьевич Герасимов. В то время они приехали в Екатеринбург с Дальнего Востока и поселились у Любови Сергеевны. Нашлась для них и работа в школе: руководство хором. А основная работа была в нашем оперном театре им.Луначарского. И вот я, 11-ти летняя девочка, стояла и пела в хоре, которым управлял Борис Аполлинарьевич, а Инна Сергеевна аккомпанировала. И не зная я, что передо мной стоит мой будущий муж, отец моих детей. Вот такие бывают повороты судьбы.

В классе я сидела на одной парте с Верочкой Зайцевой, очень хорошей девочкой, и мы с ней скоро и крепко сдружились. Жили мы недалеко друг от друга и, идя из школы, я проходила мимо ее дома. Жила она с замужней сестрой Анной Петровной и ее мужем. Они были простые русские люди, добрые и гостеприимные. Родня их жила в Сысерти, часто наезжала к ним и поддерживала их продуктами своего хозяйства. Верочка часто заставляла меня к себе и обязательно заставляла есть с ней, так как у нас дома было скудно. А когда я осиротела, то внимание и заботливость ко мне проявила и Анна Петровна. Иногда я даже ночевала у них. В 21-м году начался НЭП, и появилась частная торговля. В нашем Харитоновском саду открылся рынок на пруду, а Анна Петровна работала там буфетчицей. Пруд лежал в котловане, окруженный широкими, длинными веерообразными лестницами, спускающимися к нему довольно круто. Зимой эти лестницы заливались водой и превращались в желоба изо льда. Катались в них на «лубках» - больших кусках древесной коры, которые давались за плату на прокат. Какое это было удовольствие! Лубки летели с большой скоростью, иногда крутясь и сваливая «седоков» на бок. Смеху и веселья там было много. Анна Петровна доставала для нас с Верочкой лубки бесплатно, и мы уж отводили душу, катаясь иногда до одурения.

Мы с Верочкой навсегда остались подругами и сейчас перелипываемся и видимся, когда я приезжаю в Свердловск. Какое счастье все-таки иметь таких близких, хоть и не по родству, но по душе, людей. Но о самой «родной» моей подруге рассказ еще впереди.

Теперь опять вернусь к грустным воспоминаниям. До болезни мамы я все-таки занималась музыкой. Но было уже холодно. Одежда я была плоховата. Из всего выросла, а нового не из чего было сделать. Ноги и руки мерзли. А Тонечка оттапливала только одну маленькую комнату. В большой, где стоял рояль, была холодна. Клавиши были как лед, и пальцы ломило. Какие уж тут были занятия.

И вскоре они прекратились.

После смерти мамочки меня тянуло к Тоне, и я приходила к ней, сделала дома уроки. У меня был ключ, и я ждала ее прихода со службы. Работала она тогда счетоводом на фабрике «Сталькан». Стояли январские морозы. В квартире было очень холодно, но я залезала под одеяло и так дожидалась прихода Тонечки. Она приходила тоже замерзшая, часто сморкавшаяся из-за своего хронического насморка, которым она страдала. Она приносила дров и растапливала круглую печку, обогревающую только маленькую комнату. Бывало, сядем с ней перед огнем и сидим, прикажывая друг к другу. Добрый она была человек, любила и жалела меня.

От старых запасов, которые они с бабушкой Анной всегда любили делать, осталось у нее еще немного муки и соли. Она делала «затирушку». Мы ели с волчьим аппетитом, потом ложились в постель и согрелись, прикажывая друг к другу. Много не разговаривали, потому что Тонечка всегда была печальна после своей потери - смерти Смагдака. Жить одной в 3-х комнатной квартире было ей такливо и материально трудно, т. к. нужно было платить за квартиру хозяевам Рыбковым, и она решила пустить в зал и маленькую спальню квартирантов. И вскоре появилось семейство Сомовых: отец, лысоватый человек небольшого роста в кожаной тулупе, его жена и двое детей 6-ти и 8-ми лет, девочка и мальчик. Сколько лет прошло, а я не могу без ненависти вспоминать Сомова - этого подлеца и негодяя. Тонечка договаривалась с ним, что пускает их временно, и что они должны будут освободить квартиру по первому ее требованию.

Тетя Тоня Терчок тоже сдала свой зальчик одной хористке из оперного театра - Лене. Она жила с матерью. Из-за недостатка дров пришлось закрыть комнату, где мы жили с мамочкой и где она умерла. Теперь мы все втроем теснились в маленькой комнатке, где помещались только 2 кровати и стол у окна. С питанием было все труднее. Мы даже перерыли землю в подвале, в надежде найти там хоть какие-то картошкины. Нашли немного полугнилых, смололи их и съели. Хлеб, правда, мы тогда получали по карточкам, но всего, наверное, по 200-300 г. Как мне иногда хотелось отрезать себе кусочек хлеба от пайкового, но я не смела и только поскребу, бывало, ножом потихоньку по мякоти и крошки съем.

Вскоре после смерти мамы началась у меня очень страшная болезнь: я засыпала моментально в любом положении. Один раз даже ткнулась в горячий чай. Тогда меня брали под руки и отводили в кровать. И в школе это случалось. Школьный врач дал мне какое-то лекарство, и постепенно моя болезнь прошла.

Ближе к весне вернулась из Самары Наташа, и Тонечка была уже не одна.

Теперь я вспомнила об одном посещении мною оперного театра. Лена - квартирнантка тети Тони, решив доставить мне удовольствие, дала мне контрамарку на «Евгения Онегина». Я, конечно, пошла с удовольствием. Хочу рассказать, каков был театр в то время. Во-первых, он не оттапливался. Никто не раздевался. Молодежь, которая была в преимуществе, вела себя безобразно. Во время спектакля они громко щелкали семечки, плевались с балконов в партер, а в антракте орали хором свои песни, перекивались друг с другом через все ярусы, а в фойе нога буквально тонела в шелухе от семечек.

И тут мне вспомнились «Онегин», которого я услышала лет в 5 или даже

младше. Это была первая опера, на дневное представление которой меня взяла с собой мама. Когда мы пришли домой, то меня спросили, что мне понравилось больше всего. «Когда играл пастухом и начинался занавеска, а что все пели - это мне не понравилось, потому что было непонятно». Я и теперь всегда с возмущением прислушиваюсь к понравившемуся мне моменту и даже тогда, когда слышу в романсе Чайковского «Забить так скоро» - слова «как кольхалась тихо штора» - это всегда ассоциируется с «теми шторами», за этим встает в памяти и золотое время моего детства, такое короткое!

Время шло и дошло до несчастного случая с тетей Тоней. Как-то, неся кипящий самовар в нашу маленькую комнату и проходя между столом и кроватью, она запнулась и упала на кровать, не выпустив из рук самовара. Кипяток обдало ей правую половину груди и руки. Ожог, конечно, был ужасный, с пузырями и ранами после них. Поднялась температура, и тетя Тоня слегла, мучалась ужасно. В таком положении, конечно, она не могла спать на одной кровати с Н.А., и мне пришлось уйти к своим тетюшкам Тоне и Наташе, с которыми я и осталась жить. Тетя Тоня долго лечила свой ожог, и рубцы от него очень изуродовали ее руку, особенно на локтевом сгибе.

Сегодня - 19 декабря 1982 года, а погода совершенно удивительная. Тепло необыкновенно. С утра в тени было +12, а днем на балконе градусник показал +27 (на солнце, конечно). Синоптики сказали, что такое ненормальное явление было зарегистрировано в 1902 году. Я просидела на балконе 3 часа и даже подремала немного. Здоровье не позволяет мне ходить на улицу, и я дышу только на балконе. Вот скоро уже 3 года продолжаю свое повествование.

Когда я перешла жить к Тонечке и вернулась Наташа, Тонечка попросила Сомова освободить квартиру. Но он и не подумал это сделать и стал хамить, как только мог. А вскоре, весной, неожиданно приехал папа. Явился он страшно расстроенный, без вещей в руках. Оказывается, в Москве при пересадке он взял носильщика, а тот сумел юркнуть в толпу и исчез с папиных глаз. Так и унес чемоданы. Может быть, это был жулик в белом фартуке. А папа в чемодан положил как раз свою лучшую одежду и много подарков для нас. Папа, узнав о смерти мамы, очень огорчился, но еще больше расстроился, когда я рассказала ему о письме мамы, на которое мы так и не дождались ответа. Вот тут-то он и рассказал мне историю пропавшего письма и со слезами на глазах сказал, что если бы не эта роковая случайность, мы были бы теперь все вместе, и мамочка не умерла бы.

Папа уже сам попросил Сомова освободить квартиру, но результат был тот же, что и с Тонечкой. И вот мы должны были жить четвертом в комнате не больше 12 метров, да еще выслушивать оскорбления этого негодяя и подлеца. Он этим, видимо, сам старался нас выжить из нашей квартиры.

На Тонечку все это действовало ужасно. Она, наверное, казнила себя за то, что пустила эту семью. Сомов был чекист и, конечно, сила была на его стороне, а он еще старался превратить папу чуть ли не в контрреволюционера, раз он был во время революции где-то, а не дома. В общем, это был настоящий негодяй и подлец, призвавшийся к власти. Так мы и жили в тесноте и обиде.

И вот в одно из воскресений пошли мы все четвертом погулять в лес: папа, Тоня, Наташа и я. Тонечка все как-то отдалась от нас и ходила вдалеке одна в задумчивости. А в понедельник она ушла утром на работу в свой завод «Сталькван»,

а мы с Наташей пошли в центр города поискать мне какую-нибудь обувь. С этим было еще очень туго, и на ногах у меня были башмаки, связанные из бечевки. Тогда многие носили такую «рокошшу». И вот, выйдя на центральную площадь, мы увидели на ней большую толпу людей, из которой доносились плач ребенка и какие-то крики. Мы подошли посмотреть, что там такое, и каков же был наш ужас, когда мы увидели в середине толпы нашу Тонечку. Она прижимала к груди орущего от страха ребенка и кричала: «Не отдай! Это мой ребенок! Мой Смарагдик!» Перепуганная мать, плача и крича, вырвала ребенка из Тониных рук, но та судорожно прижала его к себе. Кто-то кричал: «Позовите милиционера!», и вся толпа волновалась. Наташа подбежала к Тонечке и с трудом отобрала мальчика. Тут появился милиционер. Он отвел Наташу в сторону и стал что-то записывать в книжку, а Тоня схватила меня крепко за руку и потащила быстро в переулок. Наташа нас потеряла, и дальше я шла уже одна с Тоней, вернее почти бежала, т.к. она увлекла меня, что-то бормоча и оглядываясь, как будто за нами кто-то гнался. Она говорила: «За нами следят? Они хотят убить тебя, но я не отдам!» Так она меня дотащила до завода «Сталькван», вбежала со мной в кабинет директора, упала на колени и кричала: «Спасите! Пожалейте эту девочку, не убивайте ее! Это моя любимая племянница! Умолю Вас!». Директор, конечно, испугался и стал звонить куда-то по телефону, а Тоня опять схватила меня и потащила вон из кабинета, на улицу. По дороге к дому попался нам навстречу какой-то мужчина, везущий тележку. Когда он поравнялся с нами, Тоня прижала меня к забору, навалившись на меня всем телом и крикнула: «Не смейте! Не отдай!» Человек испугался и быстро покатил дальше, оглядываясь и бормоча: «Какая-то сумасшедшая!» Пишу так подробно потому, что все это врезалось крепко в мою память, и я даже сейчас волнуясь. Когда мы пришли домой, Наташа была уже там, конечно, очень взволнованная всем происшедшим. Она сняла с Тони жакетик, а та продолжала раздеваться и дальше, пока не осталась совсем голой. Это ее как будто и не стесняло, и она потом продевывала это много раз, даже при папе.

Вскоре к нам пришел врач, которого, видимо, прислал тот милиционер, записавший наш адрес. Он прописал Тоне разные лекарства. Она с ним не хотела разговаривать и гнала прочь. А лекарства она выкидывала за окно, стоило нам только недоглядеть. Врач сказал, что в нашей больнице нет мест и что Тоню по характеру ее заболевания надо отправлять в Пермь, что он пошлет туда запрос, а пока Тоня должна побыть дома. Ну, и намучили мы с ней. Она была агрессивной, и так дико и больно было видеть нашу стеснительную тихую Тонечку в таком состоянии. В ту пору появился в нашей церкви новый священник - отец Иоанн, ставший кумиром всех молящихся женщин. Так вот Тоня захотела его увидеть и попросила меня привести его к нам и так настойчиво, что я даже ходила к нему. Но на беду оказалось, что он куда-то уехал. Я привела к нам другого нашего священника - отца Всеволода - очень доброго старика. Так Тоня на него и смотреть не захотела и все требовала отца Иоанна. Она не давала нам покоя с этим ни днем, ни ночью. Меня уже на ночь стали укладывать спать под столом, завесив скатертью, чтобы Тоня меня не видела. И вот однажды утром, когда Наташа была в кухне, папа на службе, Тоня обнарудила меня под столом. Она закричала: «Ты опять не ушла за отцом Иоанном?» и кинулась душить меня. Хорошо, что под пальцы ей попала моя толстая серебряная цепочка от крестика.

Она стала тянуть ее, что есть силы, цепочка врезалась мне в шею на позвоночнике до крови и порвалась. Тогда Тоня оставила меня, села на кровать и стала яростно рвать цепочку на куски.

Так промучились мы с Отческой недели 2-3. Потом пришел опять тот же врач и сказал, что можно ее отправить в Пермь еще с несколькими больными, и что папа должен привезти ее в назначенный день на вокзал. Надо сказать, что к концу срока ее пребывания дома она стала постепенно затихать и стала менее агрессивной. А когда папа привел ее на вокзал и посадил в вагон, она все время молчала, так и не сказав ему ни одного слова. Потом она говорила нам, что будто бы в то время она уже пришла немного в себя, но ей казалось обидным, что ее принимают за сумасшедшую, и поэтому она молчала. Это, конечно, были остаточные явления психоза. В пермской лечебнице Тонечка действительно вскоре пришла в норму. Ее продержали там месяца полтора, и она приехала домой.

Сомов был еще у нас, и первыми словами Тонечки были: «Эти все еще здесь?» Юрист посоветовал папе подать в суд на Сомова и предъявить выписку из Пермской лечебницы, где объяснялась причина заболевания: 1-я - смерть сына, 2-я - квартирный конфликт. И как не крутился Сомов, пришлось ему все-таки выехать из нашей квартиры по решению суда.

Воспоминания об этой квартире на Харитоновской очень тяжелы для меня. В ней я заболела сильнейшим фурункулезом, в 13 лет - страшным коклюшем, когда я задыхалась, рвала на себе платье и падала с ног от удушья, а сразу же после коклюша я заболела воспалением легких. Там же я перенесла операцию - вторичное удаление миндалин. Первое было сделано мне в 5 лет. Там же, до того как меня отдали маме, мучили меня те ужасные кошмары, о которых я уже писала. Помню еще, как понадобилось мне купить учебник для школы, и я пошла за ним в бывший сытинский магазин в центре города. На ногах у меня были ботинки из очень пористой свиной кожи, без теплой подкладки. Мороз был сильный, и на обратном пути мне казалось, что я бегу на одних пятках, а пальцев нет. Когда я разулась, то увидела, что пальцы у меня лиловые. Наташа испугалась, налила холодной воды в таз, а потом стала подливать понемногу горячей. Боже, какая боль поднялась в пальцах! Я громко кричала на весь дом. А потом Наташа еще растирала ноги сушонкой. Это было больно ужасно, но пальцы все же ожили. Этот поход обернулся для меня сильным бронхитом, и я опять не могла ходить в школу. Болезни роковым образом преследовали меня всю жизнь и мешали учебе.

Так мы перезимовали зиму на этой квартире. А потом хозяйева наши, Рябковы, попросили нас освободить квартиру, так как к ним приехали какие-то родственники, и квартира была нужна для них. И тут опять же случай сыграл роль в нашей жизни. Папа встретил нашего бывшего хозяина дома, где я родилась, Хомутова, он сказал папе, что дом у него отбирают, оставляя ему 2 комнаты, и что на втором этаже осталась незаселенной одна большая комната, и что было бы хорошо, если бы именно мы в нее переселились. И вот мы переехали туда.

Вскоре из В.Течи переехала к нам и бабушка Ксения. Мария Васильевна Титова умерла, и бабушка была свободна. И вот наша комната стала похожа на пансионат. Ближе к 2 окнам стоял роуль, за ними 4 кровати с маленькими промежутками между ними, а у самой печки пристроили бабушке постельку из каких-то ящиков. Печь была большая, кафельная, очень высокая, как и все стены,

конечно.

Большой шкаф, длинный стол стояли посредине комнаты. Слева от входа - умывальник, кухонный столик, буфет. За буфетом было 3-е окно. Комната была как раз над нашей бывшей кухней, сенями и коридором, и две с половиной ее стены выходили во двор, т.к. дом был 6-образным. Я описываю это для того, чтобы было понятно, отчего эта комната оказалась очень холодной. Зимой в морозы температура в ней доходила до +9, окна совсем обмерзали льдом, а углы стен на метр покрывались снегом. Печь хоть и была горячей, но комната была слишком большой, и тепло не доходило до окон. Помню, бабушка Ксения всегда нагревала в печке кирпичи, укутывала их в тряпку и клала в постель себе и мне.

Вот так скромно и в такой обстановке мы прожили много лет. С питанием стало лучше, потому что это было в разгар НЭПа. Из-за перемены адреса пришлось поменять и школу, которая оказалась в центре города, очень далеко от нас. Почему так получалось, я и сейчас не знаю. Вообще, со школами тогда было много ненормального. Педагоги часто сменялись, иных вообще не хватало, от этого страдало все обучение. А я еще постоянно болела из-за своих легких, и врачи запрещали мне учиться, опасаясь, что у меня может открыться туберкулез.

Так я проучилась в 6-м классе школы 3 года, занимаясь до полудня, а потом сваливалась и опять не ходила в школу. И это при том, что училась я очень хорошо, и меня даже называли лучшей ученицей школы. Как мне все это было обидно!

Но, надо сказать, что сидение дома дало мне возможность приобщиться к музыке, которую я очень любила. Вернусь немного назад. Папа решил меня отдать для занятий музыкой к одной очень интеллигентной старушке - Лидии Ивановне Цервितской. Она жила недалеко от нашего дома. Она мне понравилась, и я ей - тоже, и занятия мои с ней пошли успешно. Обнаружилась моя музыкальность, унаследованная, наверно, от дедушки Антона Ивановича Терчко.

Кроме учебных пьес я еще очень любила подбирать что-нибудь по слуху. Будучи свободной от школы, я могла играть по целым дням, быстро заучивая и то, что относилось к уроку. Таким образом, я подобрала все самые танцы, бывшие тогда в ходу, и в школе я была «штатным» тапером, играя по целым вечерам танцы, что, конечно, не всегда меня устраивало, т.к. хотелось самой потанцевать.

Вот в той школе семилетке №2 я и сдружилась с Маней Зотиной, девочкой постарше меня по возрасту и по классу. Познакомились мы с ней в гостях у одной девочки, понравились друг другу и с тех пор стали ходить из школы вместе, благо нам было по пути. Всегда у нас находились темы для разговора, и мне с ней было очень интересно. Она жила в центре, в одной из школ города, в которой ее мать была уборщицей. Звали ее Екатерина Яковлевна Зотина. Маленькая, некрасивая, она была на редкость энергичной, сильной и деятельной. Наверно потому, что пришлось ей одной растить 2-х девочек - Нюру и Маню. Отец их был замешан в революционном деле 1905 года и расстрелян году в 1907. Маня родилась уже без него. Старшая дочь Нюра умерла уже девушкой, и Маня с Екатериной Яковлевной остались одни. Я очень часто заходила к Мане, а летом иногда проводила у них по несколько дней.

Жили они чрезвычайно скромно. Екатерина Яковлевна, чтобы подзаработать

немного, делала мороженое и носила его в театральное общежитие. Я часто помогала крутить его в больших бидонах. Жизнь в ту пору уже наладилась. Бабушка Ксения пекла в бывшей хозяйской кухне чудесные пироги преимущественно с очень вкусной рыбой - нельмой и муксуном, а то и просто с сырой картошкой и луком, по-деревенски. Помню, какое наслаждение было прийти вечером (со 2-ой смены) промерзшей, отогреться в теплой кухне и есть эти пироги. Одета я тогда была сносно, хоть и не очень-то красиво. Сшили мне осеннее пальто из нашего суконного полотна в клеточку с пола нашего зала, покрасив его в черный цвет, а зимнее так и было рыжим, из того сукна, что было в нашей спальне. Вместо воротника папа купил по случаю рыжую но совсем обделанную лису, она меня хорошо согревала. А внутри зимнего пальто был хорьковый мех. Это был типичный мужской мех, т.к. женщины не носили хорьковый мех. Он тоже был уже кое-где потеряный, но все-таки спасал меня от стужи. И валенки у меня уже были. В них я и дома была постоянно, т.к. пол в нашей комнате был ледяной. В эту комнату мы переехали в 1924 году и жили в ней члены нашей семьи до слома дома в 1970-х годах. Намерзлись в ней основательно, а добиться получения квартиры или снять частную мы были не в состоянии, тем более что в году 1924 произошло еще одно событие в нашей жизни. Папа решил жениться. Он тогда работал бухгалтером и сносно зарабатывал.

В одном доме он встретил Елизавету Васильевну Антонову - бывшую миллионершу, теперь совершенно обедневшую и жившую в маленьком подвале в частном доме с 4-мя детьми: Верой, Таней, Петей и Мусей (хотя имя ее было тоже Елизавета). Работал в семье только один Петя, но он был еще юнойшей, без специальности и, кажется, работал где-то электриком. Семья очень нуждалась. И вот с папой произошло то, что называется «седина в бороду, а бес в ребро». Так пришла к нему по душе Елизавета Васильевна, что он не посмотрел ни на что, не послушал сестер, которые хотели его образумить, и женился. Как раз так совпало, что рядом с нашим домом освободился жалкий домик, принадлежавший тоже Хомутову. Папа его занял и перевез из подвала семью Антоновых. В доме было 3 комнаты-клетушки, кухня и еще одна камнатушка на антресолях над лестницей, где жила наша деревенская родственница - Настя с мужем и дочкой Валей.

Я, конечно, не пошла к папе и жила все время с бабушкой, Тонечкой и Наташей. Папа давал им небольшую сумму денег для моего питания. Тогда миллионов уже не было, и деньги поднимались в цене. Помню, сотня яиц стоила 2 р.50 коп., а моя «субсидия» от папы была что-то около 4-х рублей. А какое он получал тогда жалование, я не помню. С промтоварами стало тоже неизмеримо лучше, и можно было уже кое-что купить и выглядеть хоть и небогато, но по-человечески.

Из мамочкиных платьев, которые отдала мне тетя Тоня Терчко, мне сшили несколько славных платьиц. А вот минору шубу на кенгуровом меху тетя Тоня уже не отдала, ссылаясь на то, что она кормила меня в голод и хоронила маму. А как тогда хотелось одеться получше!

Папа женился, кажется, в 1924 году. Мне, значит, было уже 15 лет. Развивалась я очень рано и была уже девушкой по всей форме. Выглядела я неплохо: с каштановыми волосами, с белой кожей и румянцем на лице. Меня называли «миленькой», и мужчинам я нравилась. По характеру я была очень

экспансивной, но и стеснительной, и часто краснела, сама сердясь на себя за это. А яркий румянец был, наверное, от слабых легких. Да, забыла я написать, что в 1923-м году летом съездила я еще раз в В.Течу, где еще жила красная с бабушкой Анной и Калюшей, которой было 3 годика. И там жизнь очень изменилась к лучшему. Крестная вошла в компанию местной интеллигенции и часто приглашала к себе гостей и сама у них бывала. Хозяйки изошарились в печении всяких тортов и пирогов, ездили на пикники, на рыбалки, иногда с ночевкой. На одной из таких ночевок я побывала с ними, всю ночь не спала, прислушиваясь к звукам леса и «ботанно» рыбаков, загонявших рыбу в сети на озере. Жаль, мешали комары, от которых можно было спастись только в дымке от костра. Погода была ясная и восход солнца чудесный. А сколько птичьих голосов!

Ехала я в В.Течу не поездом, а от самого Свердловска на лошади, с одним знакомым, приехавшим в город по своим делам и остановившимся у нас. Ехали мы с ним спокойно, не торопя его кобылку. Было это весной. Земля была вспахана, но зелень еще не вошла. По полям расхаживали важные грачи, полклевывая тут и там зернышки. Дорога, натканная по черному, блестела так, что иногда глазам было больно. Солнце очень пригрело. Я ему доверилась и обогрела в первый же день ужасно. Первую ночь мы ночевали в поле и очень озябли. Еле дождались солнышка. Была большая роса. Когда проехали второй день, лицо мое еще больше обветрилось и стало сильно болеть. Заехали мы в какое-то село, попросили ночевать. Хозяйка увидев, что делается с моим лицом, намазала его густо сметаной. На третий день мы приехали в В.Течу. Потом я снимала с лица кожу, как перчатку. И все равно я с удовольствием вспоминаю эту поездку: солнце, поле, легкий ветерок, запах лошади и детогтыка.

В этот приезд я часто видела дедушку Феоктиста. Дело было в том, что он из-за своего бунтарского характера нагрубил и оскорбил местное начальство, и его хотели арестовать. Он убежал в лес, где жил довольно долго. Почти каждую ночь он перелезал через наш забор, съедая целую кранку престокавши, брал с собой хлеба и опять тем же путем уходил в лес. Забавный он был старик. Потом через несколько лет он приехал к нам в Свердловск в гости. Прокурил всю нашу комнату крепкой махоркой. Папа, помню, сводил его в баню. Пришел папа оттуда расстроенный от вида жалкого худого тела своего отца. Он даже стал советовать с нами, не оставить ли старика у нас. Но Тоня категорически запротестовала, да и сам дед, конечно, понимал, что здесь он будет совсем «не ко двору». Он и уехал опять домой. Вскоре умерла его Аграфена, и он ходил по домам, подшивая валенки. Так и умер он в чужих людях. Конечно, как будто не хорошо это получалось, но он сам виноват, что восстановил всех своих детей против себя своим эгоизмом и жестокостью по отношению к бабушке Анне.

Какой прелестной девчушкой была тогда Каля! Бело-розовая толстуха с пепельными кудряшками и живым подвижным характером. Помню ее прodelки. Один раз она забралась через щель в заборе к нашему соседу-священнику. Оборвала все маленькие зародыши огурцов, набив ими карманы своего фаручка. Второй раз явилась с площадки, куда сходила сама, тоже с полными карманами овечьих «орешков» и с черным ртом. Это она их пробовала на вкус. За церковью овцы устранивались на ночлег, и орешков этих было там полно. Запомнилась мне еще кошка четырехцветная - игрушка Кали, поразительно терпеливая. Каля

игра с ней, как с куклой: заворачивала в одеяльце, укачивала, укладывала спать на кукольную постель. Та все беззаботно переносила и только тогда, когда Каля чем-нибудь отвлекалась, она потихоньку выбиралась из одеяльца и уходила во двор. И была она необыкновенной ловчковой. Почти каждый день приносила в дом то воробья, то мышонка и прятала его под домотканую дорожку. Можно себе представить, какое «удовольствие» мы испытывали, наступая на эту добычу.

И еще запомнилось мне удивительное явление в поведении и жизни животных. На площадь приходила черно-белая корова со своим сыном-бычком такой же масти. Бык был уже выше своей матери, но, тем не менее, все еще сосал ее. Он становился на колени передних ног и так дергал за вымя свою мамочку, что у той прогибалась и качалась спина. Зрелище это было поразительное и смешное. Хозяева «запустили» корову и уже не доили ее и, наконец, решили, что их бычок будет здоровее на таком питании.

Погостила я в этот раз хорошо и ближе к осени уехала домой и больше в В.Тече я уже никогда не была. Да, еще хочу рассказать один случай, произошедший тем летом. Как-то поехали все компанией на рыбалку. Наловили довольно много мелкой рыбки. Приехали домой, рыбу съели. Но через день, другой почувствовали, что в доме пахнет чем-то нехорошим. Запах усиливался очень быстро. Стали искать, откуда он исходит, но никак не могли обнаружить. А он стал так отвратительный, что вызывал тошнотворное чувство, и в кухне просто невозможно было находиться. Я уже лазала в подпол, думая, что может быть там дохлая кошка, но ничего не обнаружила. Есть мы уже выходили во двор и просто измучились с этой вонью. И вот я стала искать носом самое вонючее место. Высоко на стене висел жестяной чайник, и нос мой повел меня к нему. Оказалось, что под верхней частью чайника прилипла небольшая рыбка, которая превратилась уже в комок пены. В этом чайнике и была привезена с рыбалки рыба. Конечно, рассказ мой не был приятным, но я поразились силе запаха от такой маленькой рыбки.

Теперь я хочу рассказать об Антоновых, почему они из миллионеров превратились в бедняков. Антонов Александр Иванович владел не то алмазными, не то золотоискательными присками и был миллионером. Перед революцией он с семьей решил уехать за границу, переведав все свои капиталы в иностранный банк (не знаю точно в какой). В ту пору многие капиталисты бежали за границу. Дали ему целый товарный вагон, где они устроились довольно комфортабельно, застелив и завесив все коврами. Доехали благополучно до Ачинска - узловой станции, где было большое скопление поездов, в том числе были там и цистерны с горючим. Так как стоянка там обещала быть долгой, дети, разбежавшись по двое, пошли в соседние деревни за молоком. И вдруг на станции произошел страшный взрыв. Вагоны разлетелись в щепки. Окна в дверях вылетели от силы взрыва. Александр Иванович был сразу убит, а его жена была выброшена далеко от вагона и, получив сильное сотрясение мозга, была без сознания. Ее увезли куда-то в больницу, а трупы убрали довольно быстро, так что дети, вернувшись в страшном испуге на вокзал, нашли на земле только окровавленную записную книжку отца. Куда увезли мать, они тоже не знали. Таким образом, они потеряли и отца, и мать. А Елизавета Васильевна очень долго, чуть не месяц, не приходила в сознание, и голова ее совсем облысела. Уж не знаю точно, как удалось им после долгого времени разыскать друг друга.

И вот вернулись они в Свердловск без средств к существованию. Не знаю, как бы они вообще жили, если бы не помогал им один торговец-напман. По-видимому, до революции у него были какие-то взаимоотношения с Антоновым, и он был обязан ему, потому что он изредка отпускал семье какие-нибудь продукты и не брал с них денег.

Жили Антоновы, как я уже писала, в жалком подвале, где и я бывала у них и видела всю убогость этого жилища. За Таней тогда ухаживал один молодой человек - Александр Давидович Брагин и намеревался на ней жениться. Но случилось так, что он оказался замешан в какую-то платиновую аферу и вынужден был бежать за границу, в Харбин. Таня была очень интересна: с прекрасной фигурой, русыми волосами и какими-то мраморными, серо-голубыми глазами. Но ей не нравился ее не совсем прямой, а с карнизиком к кончику, нос. И вот, уже живя с папой, она могла часами сидеть перед зеркалом и массировать свой нос, стараясь его выпрямить.

Несмотря на то, что ей было лет 25, она не работала и все ждала, что ее жених Шура Брагин вызовет ее к себе в Харбин. Это, в конце концов, и случилось, но значительно позже, года наверно через два-три.

Вера Антонова была старшей дочерью. Она была небольшого роста, черненькая с круглым лицом, вздернутым носиком, с глазами как у матери, она была очень пикантна и привлекательна. Она влюбилась в брата Шуры Брагина, и результатом этой любви явилась дочурка Вика, еще маленький «довесок» на шею папы. Володю Брагина я видела много раз в городе. Это был очень интересный молодой человек, прекрасно одевающийся. С их матерью Брагиной меня познакомила Таня, и я стала частенько у нее бывать и брать клавиры разных опер, над которыми я могла просиживать целые дни, проигрывая их, как могла, и напевая понравившиеся арии. Это мне дало многое для моей концертмейстерской работы и развития моего вокала. У Марии Борисовны было четверо детей: два сына и две дочери - Виктория Давидовна и Ксения Давидовна. Виктория была замужем за богатым евреем, ювелиром Липковским и жила в Харбине, а Ксения жила в Москве и была замужем за врачом Иосифом Адольфовичем Кусевичем. Тогда, девочкой, я еще не знала, как будут близки мне эти люди.

Петя Антонов был очень чистый, хороший и скромный юноша. Выше среднего роста, худощавый, с глазами матери и таким же, как у Тани носом. Он был очень стеснительным. По вечерам он сидел в своей маленькой каморке, отгороженной ширмой от проходной комнаты, и возился со своими винтиками, проволочками и гаечками, тихонько и очень мелодично напевая. Он сам мастерил индуктор, который мне очень нравился. Радио тогда еще только появилось, и была открыта 1-я радиостудия. Петя познакомился с директором, который был одновременно и диктором, единственным в студии, и как-то попросил меня поиграть во время передачи. Мы с ним пошли туда, и я несколько вечеров играла там, что хотела, в промежутках между статьями, которые читал диктор. Причем было забавно, что диктор называл меня поочередно то «наш радиолобитель», то «наша радиолобительница».

У нас составилась своя компания: Петя, Муса, Маня и я. Мы частенько играли в карты в «66» или шли гулять все четвером. Я уже стала замечать, что Петя ко мне неравнодушен, и когда он робко брал меня под руку, рука его дрожала. От

волнения он слегка заикался, а глаза смотрели так нежно. Когда Муса начинала подсмеваться над ним, намекая на его влюбленность, он еще больше смущался, сердился на нее и называл ее Елизаветой, хотя все звали ее почену-то Мусей. Она была моей ровесницей, тоже кареглазой, с тоненьким носиком и маленьким ртом. Два года разгоралась любовь Пети ко мне и дошла до такой степени, что он стал мечтать о браке со мной, заявив матери, что если я ему откажу, он застрелится. Елизавета Васильевна приходила к нам с официальным предложением от лица Пети и просила меня выйти за него замуж. Муса воево меня уговаривала, но я, несмотря на всю симпатию к Пете, не согласилась, т.к. была тогда влюблена в Козловского Ивана Семеновича, певшего в нашем оперном театре. Это было очень сильно у меня выражено и заслоняло все остальное. Об этой истории моей влюбленности я не буду сейчас писать, т.к. это заняло бы слишком много места и времени, а просто приложу к этим тетрадам черновик письма моего к Козловскому в год его 80-ти летнего юбилея, и все для вас будет ясно. (Примечание: черновик письма пока не найден в архивах Н.В.Грязных, но это письмо было отправлено И.С.Козловскому, мне известно из первых рук. - Л.М.)

Петя, конечно, не застрелился, и я думаю, что я могла бы быть с ним очень счастливой. Через много лет, когда мне было уже за 50, мы, т.е. Муса, Маня и я, побывали у него дома на Уралмаше, где он работал инженером. Там я увидела его 3-х красивых здоровых детей и его жену - простую симпатичную женщину. Встреча была волнующей. Потом, когда Петя нас провозжал, он взял меня под руку, мне опять показалось, что рука его слегка дрожала, и он немного заикался от волнения. Все прошлое встало так живо в памяти!

Теперь захотелось мне рассказать о «смертельных» случаях, происшедших со мной в тот период моей молодости. Первый - когда я чуть не утонула. Пошли мы опять втроем - Муса, Маня и я - купаться на наш городской пруд, который был не очень далеко от нас. Я плавала очень плохо, а девочки получше. И вот они вдвоем поплыли от берега, и я решила плыть за ними следом. Они обдали круг и поплыли обратно, а я, проплыв немного, почувствовала, что мне надо непременно встать на ноги. Я сделала эту попытку и сразу же захлебнулась, окунувшись в воду с головой. Дно было не так близко. Я задыхалась, не в состоянии вздохнуть, прыгала в ужасе под водой с открытыми глазами, видя зеленую воду вокруг. На поверхности показывалась только моя темная макушка. Девочки в это время плыли обратно и ничего не знали обо мне, и только один парень, увидев, что что-то черное то появится над водой, то исчезнет, понял, что кто-то тонет. Он бросился в воду, подплыл и выгасил меня. Я упала на берег, не в состоянии вздохнуть и страшно кашляя. Вода текла из носа, рта и из ушей. Я вся тряслась от испуга. Еле-еле отлежалась и пришла в себя. Вот только благодаря этому парню я не погибла. А то не было бы на свете меня и всех вас, мои дорогие. После этого потрясения я недели две не могла засыпать, в ужасе вскидывалась, взмахивая руками. А ребята на улице мне кричали: «Утопленница!»

А теперь второй случай. Летом (не помню года) отправили нас с Мусей в Верхнюю Туру, где жила мама Елизаветы Васильевны, бабушка ребат. Там было очень большое озеро, по которому мы любили с Мусей кататься в лодке. И вот однажды поехали мы с ней подальше от завода к лесу и увидели на берегу возмущающуюся над лесом скалу. Нам захотелось на нее взобраться. Мы

привязали к дереву лодку и пошли к скале. Надо сказать, что уральские скалы очень своеобразные. Они состоят из нагромождения громадных каменных «блинов» и представляют собой как бы пирамиды. Вот эта скала была такая же, так что, хоть и с трудом, но по этим блинам нам удалось добраться до вершины, которая представляла собой наклонную верхушку большого блина, покрытого, как бархатом, зеленым мхом. От радости, что мы достигли цели, начали мы с Мусей кричать, прыгать и изображать танец дикарей. И вдруг мох под моими ногами прорвался, под ним оказалась мокрая слизь, на которой я поскользнулась и упала на спину. Я хотела вскочить, но не тут-то было. Ноги мои неудержимо скользили по наклонной плоскости, и чем больше я упиралась локтями и ногами, тем быстрее сползала к краю скалы. Я поняла, что пришла моя погибель. Муса в испуге что-то кричала сзади меня, не смея, по-видимому, ко мне подступиться. Я смотрела в синее небо, ползла и кричала: «Прощай, Муса! Скажи папе, что я погибла» и еще что-то, уж не помню. И я полетела вниз. Но судьба, видимо, не захотела моей смерти. Я упала на выступ «блина» ниже вершины примерно метра на два. Я слышала плач Муси наверху, но сначала даже крикнуть ей не могла, так меня трясло и такая была слабость. Но, к счастью, я не сломала ничего. Через минуту я крикнула: «Муса, я жива! Я тут!» Она спустилась ко мне обходным путем, и мы вернулись на землю. Об этом случае мы даже дома не рассказали, боясь, что нас больше нигде не отпустят. Вот как неосторожна и легкомысленна бывает молодежь и часто гибнет по своему недомыслию.

В течение 3-х лет пыталась я прочтится в 6-м классе школы, но мне так мне и не удалось это сделать. Я вышла из школы в 1926 году уже 17-ти летней девушкой, так и не окончившей даже школу-семилетку.

Да, забывая я еще написать, как я стала атеисткой. Бабушка Ксения, как я уже писала, была очень религиозной. Она причудила меня тоже верить в Бога, знать молитвы, молиться. Я даже любила ходить с бабушкой в церковь. Мне нравилось церковное пение и ощущение торжественности и святости в богослужении.

В годы, когда я ползими не ходила в школу, а летом вообще была свободной, бабушка как-то спросила меня, не хочу ли я попеть в церкви на левом клиросе. Я очень любила петь и решила попробовать. Пение там было простое. Чаще всего «Господи, помилуй!» да «Поддай, Господи», ну и какие-нибудь молитвы, вроде «Богородице». В общем, начала я свою хоровую деятельность, аккуратно ходила и пела. В хоре были больше не молодые девушки, а женщины. К священнику и дьякону я испытывала сначала большое уважение, но потом, прислушавшись, как они между собой вперемежку с молитвами перебарщиваются совсем обыденными буднично-житейскими разговорами, я поняла, что для них как раз в богослужении и нет ничего святого, что это только пустая формальность. И потом еще одно обстоятельство смutilо меня. Как-то бабушка Ксения, которая пришла в церковь вместе со мной, оказалась в поле моего зрения. И вот с высоты клироса посмотрела я, как принижено стоит моя дорогая на коленях и кладет земные поклоны. Я подумала, надо ли это Богу, и зачем религия так принижала человека, сделал его рабом. И тут вырос в моей душе протест и неверие, перестала я ходить в церковь, разуверившись на всю жизнь. А теперь старушки, вроде меня, осуждают меня за то, что я даже не знаю, когда бывают религиозные праздники.

Но нельзя же было мне совсем ничего не делать, жить на деньги, которые давал мне папа. Я решила работать, но ведь никакой специальности у меня не было. И вот случайно я узнала, что в одном из клубов нужен муз. иллюстратор кинокартин, идущих в этом клубе. Я предложила свои услуги и была принята. Вообще-то, это, конечно, было «нахальство» и необыкновенная смелость с моей стороны, так как это очень трудное дело. Но я к тому времени поднаторела в игре наизусть разных фокстротов, вальсов и маршей. Да и нот у меня было уже порядочно.

Картинки тогда показывали по частям, а не сплошь, так что можно было приготовить нужные ноты в перерыве. В общем, лето 1926 года я проработала там, заработав себе на стеганое одеяло, которому я рада была бесконечно, учитывая нашу холодную комнату.

Зимой я все-таки не работала нигде, так как родные боялись за мое здоровье. Вот в эти-то годы, 1925-26 я и была влюблена в Козловского и очень часто ходила в театр, который был для меня храмом и святыней. Денег на дорогие билеты не было, и я обычно сидела на последнем ряду галерки, откуда было очень хорошо слышно. В тот 1926 год я прослушала много опер. «Садко» мне так понравился, что я сходила на него 6 раз.

Запомнилось мне на всю жизнь мое первое впечатление от «Тангейзера» Вагнера. Мы сидели с Маней внизу, в бельэтаже, и вот началась увертюра. Звук исходил как будто из-под пола, постепенно разрастаясь и доходя до величественной мощи. Не знаю, почему так сильно я была потрясена этой музыкой, что начала плакать и проплакала весь спектакль от восторга. Я никогда до этого не видела таких красивых, таких торжественных шествий, а тут еще и похороны Эльзы. Я просидела в ложе весь спектакль, не смея показать никому свое заплаканное лицо. В те годы Козловский только начал петь. Голос его звучал прекрасно, выигрешная внешность. Он был буквально кумиром всех женщин и пользовался громадным успехом у публики. Тогда же пел у нас Лемешев, но он не мог сравниться с Козловским. А образ Козловского сливался с персонажами, которых он играл на сцене, и это еще более углубляло мое увлечение им. Но с годами я поняла, что культура пения выше у Лемешева.

В 17-18 лет мы, т.е. Муса, Маня и я обзавелись знакомыми мальчиками. Это были преимущественно евреи, очень остроумные собеседники. Один из них был сыном оперного дирижера. По вечерам мы ходил в наш сад им. Вайнера, бывший «Клубный». Это был сад в английском стиле с подстриженным кустарником, с большой концертной эстрадой, на которой играл симфонический оркестр под управлением милого, старого дирижера Полицына. После концерта мы всей компанией еще долго бродили по городу и домой возвращались поздно. Мальчики держали с нами себя очень корректно, мы были с ними на «вы» и не было и намека на какие-нибудь вольности. А иногда мы всей компанией ездили в лес за цветами. Сколько их было на полянах, окруженных деревьями: белоснежных ромашек или желто-золотых купавок, пахнущих медовым запахом. Здесь у нас они не растут.

Нашим увлечением с Маней было тогда чтение произведений Кнута Гамсуна, Ростана, от которого мы были в восторге. Очень нам понравился «Пушторг» поэта Сельвинского, еще мы могли играть хоть до полночи в «линг-понг», вошедший тогда в моду - настольный теннис, и еще я вязала из белых ниток



Борис Аполлинарьевич в роли Раджами из оперетты «Баядера»



Юлия Борисовна Эстрович-Герасимова с детьми Борисом, Лидией и внучкой Еленой Сартори. Свердловск, 1928г.

На отдыхе в Сердобске Пензенской области. 1935г.



Борис Аполлинарьевич Герасимов. Москва 1925г.(?)



Аня Грязных (с 1966г. – Лебедева) и Киса Герасимова. 1937г.

Ксения и Алексей Герасимовы. Карачев, 1941г.



кроше крючком кружева, подвесы к кроватям и прошвы в наволочки. В то же время мы прочли «Овод» Войнич. Роман произвел на нас громадное впечатление. А вскоре пошла я одна в наш Верх-Исетский театр драмы на этот спектакль. И вот когда подошел момент расстрела Артура, я вся оцепенела от ужаса, что сейчас на моих глазах убьют человека, встала на ноги и так стояла, пока не кончилась эта сцена. Хорошо, что я сидела в ложе и никому не мешала видеть сцену. Потом я недели две переживала это потрясение. Слишком впечатлительной я была, видимо, все переживания мои в раннем детстве отразились на нервной системе.

А как мы любили разговаривать с Маней! Я и сейчас не понимаю, откуда брались у нас темы для бесконечных откровенных и задумчивых разговоров. Ведь бывало, пойдет она меня провожать, дойдем почти до моего дома и поворачиваем обратно. Сейчас уж я ее провожаю. Так пробродим чуть не до полночи, провожая друг друга. Особенно это бывало в лунные вечера, когда душа была наполнена каким-то восторгом от тишины вечера и лунного света.

Приехал к Мане ее двоюродный брат - Борис Грязных - мой однофамилец. Он был сирота, воспитывался в детском доме. По возрасту он был старше нас с Маней на 4 года. Очень серьезный, с каким-то политическим образованием человек. Жить ему было нелегко, и Екатерина Яковлевна, мать Мани, приютила его у себя. У нас появился еще один интересный собеседник и участник наших походов в кино. Вскоре я стала замечать, что он неравнодушен ко мне. Он стал приходить в наш дом просто побить со мной или пригласить в кино. Свою влюбленность он не скрывал и написал мне в альбом такие строки: «Я видел слабой каплей насквозь пробитый камень», или еще: «Если невольное, постоянное сосредоточение мышления на одном предмете - признак безумия, то я смело могу сказать, как бы это ни звучало, что ты причина моего сумасшествия». Продолжалось это долго, до моего отъезда из Свердловска. Маня видела, в каком он состоянии, и спросила его, почему он не делает предложения. Он сказал, что не имеет права его сделать при всей его любви ко мне, т.к. еще сам недостаточно крепко стоит на ногах и не хочет испортить мне жизнь. Я ему благодарна за это, потому что по недомыслию, пожалуй, и согласилась бы выйти за него, видя, как он благоговейно любит меня и уважая его за его ум. Потом он еще учился где-то, достиг достойного положения. Получив квартиру в Первоуральске, он женился. Причем, в письме он написал, что женился на женщине, похожей на меня. Через много лет, когда мы оба были уже старики, он приезжал к нам сюда и еще раз подтвердил, как он любил меня в молодости. Он уже давно умер, но писал мне до самой смерти. И вот этот человек ни разу не поцеловал меня. Я пишу это потому, что сравниваю нравы теперешней молодежи с теми, что были в пору нашей молодости. Только один раз он стал передо мной на колени и взял меня за талию, и надо было видеть его глаза.

В 1927 году папа работал бухгалтером на постройке очень большого здания «Промбанка». Летом он устроил меня в постройком в качестве тех.секретаря и библиотекаря. Сидела я одна в полуподвальном помещении, где было сыро, холодно и пахло цементом. Как мне было там тоскливо! На улице солнце, жарко, а я коченела от холода. Кончилось тем, что я заболела, и папа взял меня оттуда.

Спустя много лет в этом здании произошла страшная катастрофа. В одном из верхних этажей возник пожар. Огонь перекрыл все выходы, и люди обгорали

там, выбрасывались из окон и разбивались на земле. Погибло много людей. А с папой вскоре случилась беда. Он заболел «писичей судорогой»: как только брал он в ручку или карандаш и намеревался писать, рука начинала неуждержимо трястись, и писать он совсем не мог. Пришлось перейти на инвалидность. Но папа не сдался. Он стал учиться писать левой рукой. Надо было знать папу, чтобы понять, с каким усердием он это делал и, в конце концов, он добился своего. Причем интересно то, что почерк совсем не изменился, а был он чрезвычайно оригинальным. Буквы были готические и все разной величины, вернее высоты. Первая буква каждого слова была высокой, а все последующие постепенно понижались до самой низкой. Причем каждая буква была четко выписана.

Вспомнила я сейчас, даже неожиданно для себя, еще одного моего поклонника, мимо которого мне не захотелось пройти. Это был Виктор Механюшин - брат Наташиной подруги Лиды. Он был старше меня, уже где-то в такел. Он был, можно сказать, очень некрасивым: узколобый, щупленький, с маленькими глазами, очень маленьким ртом на продолговатом лице и с довольно большим мясистым носом. Тетушки в шутку его называли «Твой Сирано». Так вот, этот бедный юноша влюбился в меня чуть не с первого взгляда, когда мы с Натшей зашли к ним. Он стал часто вывезать у нас и всегда с «презентами»: то цветы, то конфеты или билет в оперу. А было это тогда, когда Борис ухаживал за мной, и я, конечно, предпочитала Виктора. Виктор был настроен необычайно романтически, в противовес Борису. Он просто трепал передо мной. В театре он шептал мне о своей любви, угощая меня шоколадными лепешечками, которые лежали у него в жестяной коробочке в кармане и были теплыми, что у меня вызывало отвращение к ним. Однажды, пока мы сидели на спектакле, прошел сильный ливень и по улицам текли потоки. Так он хватал меня на руки и перетаскивал через каждый ручеек, не сразу опуская на землю. «Ну, поставьте же меня!», - кричала я, а он, хоть и весь тряся от натуги, говорил, что он хотел бы нести меня так всю жизнь.

А однажды приключился со мной трагикомический случай. Шли мы с ним в театр. Недалеко от него на тротуаре сидела старушка с корзиной чудесной владимирской вишни, почти совсем черной и очень крупной. Я сказала: «Какая чудесная вишня!» Этого было достаточно, чтобы Виктор тотчас купил ее, наверное, стакан два, а старушка сделала из газетки фунтик и высыпала туда вишню. Сидя в ложе 1-го яруса, я слушала оперу и потихоньку лакомилась вишней, беря из кулечка по яголке. Но потом мне что-то захотелось поправить лежащий на коленях кулечек, я приподняла его и... О ужас! Вишня вывалилась из разношерстной бумаги прямо мне на колени на белое батистовое платье, окрасив его в громадное красное пятно. Вот положение! Я ведь не могла выйти из ложи в таком виде. Просидели мы с Виктором до конца спектакля, подождали, пока уйдет вся публика. Потом он дал мне свою шляпу, и я, как бы небрежно держа ее перед собой и прикрывая «позорное» пятно, потихоньку выбралась из ложи и так же пошла по улице. Благо, было темно, хоть улицы и были освещены фонарями.

Жаль мне было своего белого платья. Я думала, что оно совсем пропало. Но дома мне сказали, что дело поправимое, надо только купить в аптеке лимонной кислоты, а платье с вечера залить холодной водой. Утром я сразу сбегала за кислотой, стала тереть уже совсем посиневшее пятно, и оно на глазах стало

краснеть, и вода делалась все розовее. Так и сошло пятно. Виктор еще некоторое время «безумствовал» и даже грозился убить меня и себя, если я не буду ему принадлежать, но в конце концов отступился, не встречая взаимности. Умер он еще совсем молодым, но меня тогда не было в Свердловске.

Теперь возвращаюсь к папе. Из-за инвалидности ему пришлось уйти с должности бухгалтера, но когда он научился писать левой рукой, он стал работать по инвентаризации, где не так много нужно было писать. Он должен был обмерять дома и дворовые постройки. Тут необходим был ему помощник, и он стал брать меня на обмеры. Уж наступила зима 1927-28 года. Мы оба с папой порядком промерзали, ходя по кварталам на окраинах города. Все записи размеров вела я, т. к. папе это было еще нелепо, быстро он еще не мог писать. В рукавицах ведь писать невозможно. Приходилось их часто снимать, и я таким образом сильно перемерзла руки. И, в конце концов, я и сама простудилась и опять заболела. Папа больше уже меня не брал с собой, а попросил прийти ему на работу помощника.

Опять я была свободна и сидела дома. В то время у меня частенько бывала Маня. Она любила улесть на кровать и требовать, чтобы я играла. Бывало, даже задремлет под музыку, а как только я перестану, командует: «Играй еще!». Вот тогда мы читали «12 стульев» и были в диком восторге от этой чудесной книги и смеялись до слез. И еще увлеклись Цвейгом. Очень! Муса тоже очень часто составляла нам компанию. Потом мы придумали ставить пьесы, где почти всегда я исполняла мужские роли. Надо сказать, что Дон Жуан из меня вышел неплохой. Когда я делала себе усики и спаньюло из женой пробки, надевала берет, ярко красила губы и подступала к Мусе со «страстным» выражением лица, она даже пугалась и со смехом отскакивала, говоря, что боится меня. Мы разыгрывали даже одну трагическую мелодраму, где муж (это я), узнав об измене жены, застреливается.

Сколько в молодости было всяких порывов! Хотелось приблизиться к искусству. Я даже пыталась рисовать, но вскоре убедилась, что этой способности у меня нет. И еще у меня была одна мечта - иметь ребенка. Началось это, наверное, лет с 14-15. Я мечтала о белокуром голубоглазом мальчике и даже писала об этом стихи. Сознывая, что, конечно, для меня это еще рано, я умоляла моих тетушек взять из деревни какого-нибудь ребеночка, обещаая нянчиться с ним и любить его. Жажда материнства, по-видимому, была заложена в меня самой природой, в чем я убедилась впоследствии, желая иметь ребенка совсем в неподходящих для этого условиях.

Иногда я любила музыку, хотя не всегда исправно занималась, часто убегая из дома к Мане и пропадая у нее иногда не один день. Чайковский, конечно, был самым моим любимым композитором. Помню, как я увидела свою учительницу Лидию Ивановну, когда под ее аккомпанемент спела ей «Письмо Татьяны», а «Осенняя песнь» из «Времен года» была чуть не самым моим любимым произведением. Я отводила в нем свою душу.

Рядом с нашей комнатой жил один инженер - Николай Иванович Петров. Он сам тоже был меломаном и немного пел. Как-то он зашел к нам и попросил меня поаккомпанировать ему. Я очень смущалась и сказала: «Не знаю, смогу ли я?» Он уверенно сказал: «Сможете!». Принес ряд классических романсов, и я, очень волнуясь, приступила к этому еще незнакомому мне делу. Сначала были, конечно, разные шероховатости, но постепенно я освоилась, и он стал часто

петь со мной. Тенор у него был приятный и музыкальность хорошая.

Увлелась я рассказами о себе и не написала о переменах в нашей семье. В 1926 году приехали из В.Течи крестная Катя с Калюшей, которой было уже 6 лет. Чтобы не стеснять нас, она сняла комнату в одной из частных квартир. Дорогая наша бабушка Анна умерла так же тихо и скромно, как жила. Крестная рассказала нам, как это произошло. Бабушка заболела зимой и лежала на печке. Однажды утром крестная, приготовив завтрак, посадила бабушку, прислонив ее спиной к стене, поставила на колени ей чашку с едой и пошла во двор напоить корову. Когда вернулась на кухню, спросила о чем-то бабушку. Та молчала. Крестная, встав на приступок, заглянула на печь и увидела, что бабушка сидит над чашкой в той же позе, но низко наклонив голову. Она была мертвой. Лет ей было, наверное, уже за 70.

А в 1926 году приезжала к нам в гости Леночка из Киева, а обратно и Наташа с ней уехала. Среди знакомых Лены был один человек, недавно овдовевший. У него было две девочки. Ему трудно было справляться одному, и он намерен был жениться. Вот Леночка и решила, что для Наташи это может быть хорошая партия. Но получилось иначе. Ее превратили в прислугу и няньку, и она, выдержав только год, вернулась к нам очень расстроенная. И часто, когда я играла что-нибудь серьезное, Наташа плакала втихомолку.

А Леночка пригласила меня погостить у нее летом 1928 года, и я с радостью поехала. Первые впечатления от Киева, когда я была в нем с папой в 1918 году, уже стерлись в памяти, и я его восприняла как видимый впервые. Потом, и время-то было совсем другое - НЭП - период подъема и расцвета. Всего было много и дешево. Какой был роскошный рынок и продуктовый, и цветочный. После уральского убожества я восторгалась обилием ягод и фруктов. Помню, не далеко от Милоцкого дома был специальный магазин, где продавалась «Виктория», клубника, и там же свежайшие сливки. Мы ходили с Милочкой ее покупать и на завтрак съедали полную тарелку клубники, которую я узнала впервые. И 2 фунта клубники стоило всего 15 коп. А как неприятно мне было тепло, которое не исчезало, и вечером, выйдя на балкон в мае, казалось, что я погружаюсь в парное молоко. Такого на Урале у нас никогда не бывало. А какое наслаждение было поехать на пляж и лежать под лучами горячего солнца, а потом заходить в Днепровскую воду, необыкновенно мягкую, шелковую.

А чудесные зеленые бульвары и парки, куда я ходила посидеть с книгой! Все мне казалось раем. Посмотрела я тогда и панораму «Гонгофа», где изображен момент распятия Христа. Чудесная была картина. Она, к сожалению, сохрела в войну. Но я ярко помню и сейчас ее всю. Помню прозрачный, как бы дышащий, воздух предвечернего часа, голубое небо, белые дома с плоским крышами и стоящими на них кое-где людьми, смотрящими из под руки куда-то вдаль, Самаритянку, спускающуюся по ступеням с кувшином на плече, гору вдали, где водружены три креста с распятиями на них Христом и разбойниками, и бегущий к оркестру кривому дереву Иуда с веревкой в руке. А на переднем плане солдаты около палатки, делящие одежды Христа. Вся панорама исполнена была в каких-то «акварельных» тонах. Какая жалость, что ее уже нет.

Приехала я в Киев месяца на два, но судьба повернула по-своему, и я прожила там два года. Случилось так, что дядя мой Федор Максимович Лебедев - муж Леночки узнал, что в Киеве открывалась «Рабочая консерватория», куда

принимались дети рабочих и сами рабочие любого возраста. А так как дядя мой был рабочим-слесарем, он смог устроить меня в консерваторию как родственницу. Легкий экзамен я выдержала и начала учиться. Попаля я к очень интеллигентной, даже аристократической женщине Софье Григорьевне Лавровой. Она оценила мои способности и предложила готовить меня для поступления в институт им. Лысенко. Я начала заниматься с одним евреем, Борисом Самойловичем, по общеобразовательным предметам. В первый год обучения все шло хорошо. Софья Григорьевна хвалила меня. На ученических концертах я играла хорошо и была счастлива этим необычайно, потому что очень волновалась. После удачного концерта я, как говорится, ног под собой не чувствовала и мне казалось, что я лечу по воздуху, не касаясь земли в каком-то опьянении.

Сначала я жила у Леночки и занималась на пианино, взятом напрокат, но потом перешла в одну еврейскую семью, неподалеку от дома родных. У Лебедевых была хоть и большая, но все-таки одна только комната, и, конечно, мои занятия не очень устраивали их, т. к. был еще мой братик - Боря 5 лет, который должен был ложиться спать вовремя. Да и к Леночке часто приходили заказачицы, и я не могла при них играть. А на второй год я заболела сначала сухим плевритом, а потом он перешел в экссудативный, и я лежала у Лены с высоченной температурой и иногда даже бредила. Мне казалось, что надо мной звенели на дыбы медный всадник и грозил раздавить меня своими копытами. Это было в июне во время цветения пионов. Дядя Федя приносил большие букеты их, и я, опуская прохладные ароматные цветы на лицо, испытывала наслаждение и даже некоторое облегчение и навсегда полюбила эти чудесные цветы. Так как температура не падала, пришлось делать выкабывание жидкости, после чего я стала понемногу поправляться. В это время Лебедевы должны были всей семьей уехать на курорт, а меня оставили на попечение домработницы Груни - забавной молодой хохлушки, которая боялась спать со мной в одной комнате, говоря, что я похожа на покойника, когда сплю. Настолько я плохо выглядела после болезни. Вернувшись с курорта, родные отправили меня в деревню к сестре Федора Максимовича на поправку. Конечно, с поступлением в институт ничего не вышло. Опять болезнь мне все испортила.

В Киеве мне больше делать было нечего, и я поехала на Урал к Мане, которая звала меня к себе и обещала помочь с устройством на работу. Жила она тогда в городе Кургане и возглавляла инвентаризационную бригаду, состоящую из политссыльных грузин. Она включила и меня в свою бригаду, и я стала с ними работать. Но по музыке я скучала, и мы с Маней иногда ходили в госсад. Там в раковине стояло плохонькое пианино. И вот однажды подошли к нам два молодых человека. Один из них, младший, Коля Поппель был виолончелистом, а другой, старше его значительно, Николай Васильевич - пианистом. Это были тогда тоже политссыльные. Мы познакомились и потом мы с Колей часто музицировали. Это знакомство повлияло, может быть, на всю мою жизнь, т.к. к осени в Курган приехал драматический театр, они набирали музыкантов, и Николай Васильевич порекомендовал режиссеру меня. И вот я начала свой первый театральный сезон. Сначала я играла на фисгармонии, заменяя недостающие инструменты, а потом и концертмейстерскую работу стала выполнять.

К нам с Маней приехала и ее мать Екатерина Яковлевна. Мы сняли целую половину дома и зажили втроем. Это был 30-й год. НЭП кончился. И опять стало

трудно с питанием, но Екатерина Яковлевна опять нашла выход из положения. Она покупала на рынке зайчатину и делала из нее котлеты, которые продавала с прибылью на базаре и кормила нас этими котлетками. Мы жили безбедно.

Когда кончился зимний сезон, драма уехала в Магнитогорск, а на ее место приехал театр «ТАМФС» - театр малых форм и сатиры, но в основном шли там оперетты. Я предложила свои услуги, и была с радостью принята, т.к. у них был только один концертмейстер, и то слабенький. Директором и худ. руководителем был Виктор Давидович Ахматов, большой грузный и симпатичный сероголазый человек. Я даже не знаю, кто он был по национальности.

Сначала я играла в балете и в оркестре, а потом стала разучивать партии с актрисами и основательно вошла в работу. Мамя с Екатериной Яковлевной в то время уехали в Свердловск, а мне дали маленькую комнатку в детском саду, где я подрабатывала как муз. воспитатель. Садик был богатый, пitalи детей хорошо, и даже мне кое-что перепадало иногда. Дом был барский, одноэтажный, и деревянный и стоял он в глубине двора, обнесенного высоким забором. Как я уже писала, в то время было голодно, и были случаи огрeбления детских садов и даже с убийствами. В этом садике натерпелась я страху. Чаще всего оставалась на ночь должны были поварахи, но они отпращивались у меня и уходили домой. А у одной из них был муж пьяница и ревнивец, который мог среди ночи стучать в окна и скандалить, ища свою жену.

В ту зиму, о которой я хочу рассказать, ко мне приехала бабушка Ксения. И вот одной морозной ночью все ушли и остались мы с бабушкой одни во всем большом доме. Мы уже спали, как вдруг бабушка тихонько разбудила меня и сказала испуганным шепотом, что слышит стук, доносящийся со стороны зала. Я, конечно, сразу испугалась и прислушалась. Стук был равномерный и довольно явственный. Из зала была дверь в парадный ход на веранду. Я сразу решила, что там хотят вышибить пол и проникнуть в зал через окна, выходящие на веранду. Ужасный страх овладел нами обоими. Я решила, что пришел наш смертный час. Меня всю трясло, а сердце билось в ушах и горле, как молоток. А стук все продолжался, и это длилось так долго, что мы, наконец, решили на цыпочках подойти к залу и послушать этот стук поближе. Было уже под утро. И что же мы обнаружили, войдя в зал? Одна половина не плотно прикрепленного ставня колебалась от ветра и стучала равномерно об оконную раму. Мы были спасены от смерти, в которую уже поверили, и так страшно пережили эту ночь. В театре даже заметили, что я осунулась и была бледной.

И еще об одном случае хочу рассказать. Этой же зимой, когда бабушка уже уехала домой, помню в воскресенье в театре шла я из буфета, и на меня налетела наша маленькая парикмахерша. Она сильно стукнулась лбом о мою правую щеку, извинилась и пробежала дальше. Я потеряла немного ушибленное место и пошла домой. Мороз в тот день был сильный, садик был закрыт, но у меня был ключ от двери. И вот когда я наклонилась к замочной скважине, вдруг почувствовала, что щека у меня тяжелая. Я ее потрогала и с ужасом обнаружила под пальцами твердую лепешку во всю щеку, толщинной, примерно в палец. Я поняла, что отморозила эту щеку, схватила из чулана мороженого гуся, отрезала кусок и стала что есть силы тереть им щеку, потом в растерянности терла еще сухим и колочим снегом. Вначале щека ничего не ощущала, но когда я вошла в дом, то почувствовала сильную боль в ней. Взглянув в зеркало, я увидела громадную

желтую лепешку с ободранной с нее кожей, всю покрытую желтыми гадкими лимфами. Боль была ужасная, и лицо стало опухать. Глаз закрылся, и мне даже показалось, что у меня поднялась температура. А, кроме того, можно понять, как я была расстроена, представив себе, что лицо мое испорчено на всю жизнь. Потом щека покрылась толстенной коростой, которая только к весне стала отваливаться по кусочкам, а под ней оказалась нежнейшая розовая кожа, под весенним солнцем она превратилась в темно-коричневое пятно, похожее на громадную родинку. Я думала, что так и буду всю жизнь с такой отметиной, но, как говорят, «на молодом теле все заживает». Постепенно, наверное, за 2 года, пятно побледнело и исчезло к моей великой радости.

В ту же зиму, в начале ее, сижу я в балетном зале, играю для балета и вдруг мне на колени кто-то положил щечочка - совсем маленького, черного с белыми пятнами. Он дрожал и жался ко мне. Оказывается, его подбросили на крыльцо театра, и кто-то из балета принес его в зал. Я, конечно, сразу прониклась к нему любовью и жалостью, никому не отдала и унесла с собой. Возни с ним и беспокойства, конечно, была масса, но у меня появился подопечный друг. Назвала я его Тамфиск по названию театра. Я носила его в театр и устраивала где-нибудь в уголке, поблизости от себя. В садике оставлять его было нельзя, т.к. он пачкал везде. Он тоже привязался ко мне, оказался смывшленный и быстро рос. В один вечер научился давать лапу. У меня в комнате была мебель детская - стол низенький и два стульчика. Так он привык садиться за стол со мной вместе и есть с тарелки. Если я долго не ставила перед ним тарелку, он требовательно стучал лапой по столу. К весне он уже был довольно большой. Я водила его на поводке, что было поводом для насмешек кумушек, сидящих у ворот. Они даже как-то сказали мне: «Завела бы себе лучше ребеночка, чем с собачкой-то нянчиться!». Бесчувственные души!

И еще с садиком связано одно воспоминание. Работала я очень много и, конечно, уставала. Уроки балета начинались в 6 часов, т.к. не было помещения и второго инструмента. И между уроками и репетициями мало оставалось времени для отдыха. Я прибегала домой, обедала и могла прилечь только на полчаса. Однажды я вот так прилегла и «оцепенела», не в силах шевельнуться или приоткрыть глаза. Рядом в комнате делали уборку нянечки, я слышала их голоса, но окликнуть их не могла. Я испугалась очень и только большим усилием сделала рывок руками и пришла в себя. Я тут же рассказала женщинам, что произошло со мной, предупредила, что если еще так случится, чтобы не приняла мое оцепенение за смерть и не вздумали меня хоронить. Такое же со мной было еще раз через много лет, но больше не повторялось.

Это была зима 1931-32 года. Зимний сезон кончился, и нас распустили в отпуск. Я решила не расставаться с театром и ехать в Уфу на летние гастроли. Отношение ко мне в театре было очень хорошее, и работа мне нравилась. Наши поварахи напекли мне целую корзину сдобы. Собрала я все свои пожитки, часть которых пришлось даже сдать в багаж, и распрощалась с Курганом, в котором я прожила больше двух лет. Вагоны тогда были еще плохие, полки деревянные отгнивающиеся. Когда я садилась в вагон, было уже совсем темно, а в вагоне почему-то не было света. Я расположилась на нижней полке, поставив на нее все свои вещи. Вдруг какой-то человек подошел и попросил временно снять вещи на пол, сказав, что хочет поднять верхнюю полку. Я это сделала, а он приоткрыл

полку и опять спустил, сказав, что она не годится из-за плохого затвора, и ушел. А когда я стала ставить свои вещи обратно на полку, обнаружила, что моя сумочка исчезла. Хорошо еще, что деньги и паспорт я зашила у себя на груди, и в сумочке их было немного, но там была квитанция на багаж, профсоюзный билет и справка о работе в театре. Я, конечно, расстроилась и не знала, что делать. Кондуктор подсказывал мне сойти на какой-нибудь станции и дать телеграмму в багажное отделение Свердловска, чтобы мой багаж не выдавали вору. И вот ночью пришлось выходить где-то в темноте и все это делать, а потом всю ночь сидеть и ждать следующего проходящего поезда. Но в итоге все обошлось. Багаж я получила, но эта ночевка на безлюдной станции мне запомнилась.

Тамфиска я в Кургане не оставила. Он приехал вместе со мной в нашу комнату. Не могу сказать, что ему обрадовались, особенно после того, как он, по старой привычке, хотел сидеть со всеми за столом. Это ему не разрешили, и пришлось его перевоспитывать. Я, конечно, была очень рада повидаться со всеми родными и близкими, но отпуск был коротким, и я не желая расставаться с бабушкой Ксенией, позвала ее с собой в Уфу. Она согласилась, к моей радости. И вот приехали мы с ней в Уфу. Тамфиска я оставила дома, уступив уговорам родных не таскать с собой собаку. Конечно, не легко мне это было сделать, но здравый рассудок подсказал мне, что родные правы. Потом они отдали его кому-то из В.Течи.

В Уфе нас всех разместили в оперном театре по грим-уборным, а гастроли должны были проходить в летнем театре в саду. И вот накануне открытия театра вышла я в коридор и стала играть с белым чудесным шлицем одной нашей актрисы и увидела какого-то незнакомого мне мужчину в кремовых брюках и сером пиджаке, выше среднего роста с довольно большим носом, но вообще-то благообразного и даже элегантно. Он приостановился, посмотрел на нас, но заговорить не решился и прошел дальше. А надо сказать, что по приезде во время первой нашей встречи с Ахматовым, он мне сказал: «Нина, я тебе жениха привез». Я поспеялась и поблагодарила шутя. И тут у меня мелькнула мысль, не об этом ли женихе говорил Ахатов.

Утром следующего дня собралась мы всей труппой на сцене. И вот Виктор Давидович подводит ко мне того самого человека и говорит: «Вот, Ниночка, наш новый герой, Борис Аполлинаруевич Герасимов, прошу любить и жаловать!». А меня отрекомендовал, как молодого, способного концертмейстера. Когда попросили всех сесть, Борис Аполлинаруевич принес 2 стула и сел рядом со мной. В разговоре он упомянул Свердловск, и я вдруг вспомнила, что его имя я уже слышала где-то, и когда он сказал, что они с бывшей женой пели в нашей опере, у меня уже не было сомнений, что передо мной руководитель нашего школьного хора. Мне было очень приятно это открытие. Я ему сказала, что знала его давно, 10 лет тому назад. И мы сразу же почувствовали обидную симпатию друг к другу. И вот начались наши уроки с ним в рабочее время и долгое сидение у рояля и пение классических произведений в нерабочее. Мы очень сошлись с ним в любви к классике. Голос у него был очень приятный, и я аккомпанировала и слушала его с наслаждением. Разучивали мы с ним довольно трудную партию Андрея из «Холопки» Стрельникова, Маркиза из «Корневильских колоколов». Ему пришлось осваиваться в опереточном репертуаре, т.к. до этого он пел в опере или занимался концертной деятельностью. Он сказал мне, что оперу ему

пришлось оставить из-за язвы желудка. И я сама чувствовала, что высоких нот он побаивался.

И еще он сказал мне, что с женой Инной Сергеевной Архиповой он расстался почти 10 лет тому назад, т.к. она увлеклась другим человеком, и они мирно разошлись. Надо сказать, что его простота, открытость в разговоре, голос, музыкальность и привлекательная внешность - все импонировало мне, и я очень скоро влюбилась в него. Я видела, что и я ему нравилась, и началось постепенное сближение. Как-то он, зайдя к нам и застав нас за обедом, который приготовила бабушка (внизу была кухня) сказал, что он отвык от домашних обедов, я ему предложила обедать вместе с нами. Он без церемоний и даже радостно согласился. Тогда в Уфе было уже хорошо с продуктами. Башкиры привозили на возах всевозможное мясо, жиры, почки, печень и мозги, которые очень любил Борис Аполлинаруевич. Денег он нам давал на покупку продуктов, и мы питались очень вкусно. А потом он очень простудился, и мне пришлось ухаживать за ним. Надо сказать, он не допускал никаких вольностей в отношении ко мне, но сближение наше росло. И он сам стал заговаривать о нашей совместной жизни. И вот мы решили, что в следующий город наших гастролей после Уфы, Ижевск, мы придем уже мужем и женой. Так и случилось. Не было у нас никакой свадьбы. Тогда это было не так обязательно, как нынче. 6 августа были именины Бориса Аполлинаруевича. Из Уфы коллектив поплы на пароходе до Ижевска, и 7-го августа был отъезд из Уфы. Каюты у нас были разные. И вот вечером 7-го августа я сказала бабушке, что иду к Борису Аполлинаруевичу. Она заплакала от волнения. На слиянии двух рек, Белой и Камы, слились и наши жизни. Прибыв в Ижевск, Борис Аполлинаруевич попросил, чтобы нам сняли общую квартиру. Для меня все это было радостно и ново.

Вот так и сбылись слова Ахматова насчет «жениха». Бабушка очень уважала моего Бореньку и настаивала на том, чтобы я ему была хорошей, старательной и послушной женой. Все было бы чудесно, если бы и с работой было хорошо. Но, к сожалению, Борис Аполлинаруевич «не прошел» в нашем театре. Уже в Уфе, когда он спел Маркиза Корневилья, стало это понятно. Он тяжело переживал это, и я с ним вместе. Я уже тогда очень его любила, и мне жаль было его до глубины души. Не было в нем уверенности в своих силах и той честолюбивой смелости, необходимой для сцены. В коллективе его все уважали за его культуру и эрудицию. Ахматов тоже был с ним вежлив, но он сам чувствовал себя в ложном положении и решил уйти сам, не дожидаясь, когда ему это предложат. Партию Андрея в «Холопке» он все же спел. Дирижер похвалил нас за хорошую выучку, но все же очень было заметно, как Бореньке трудны были верхи. И вот в Ижевске в середине сезона он подал заявление об уходе и решил ехать в Ленинград, домой. Там жила его мать - Юлия Борисовна, сестра - Лидия Аполлинаруевна с дочуркой Леночкой и старший брат - Владимир Аполлинаруевич, женатый на балерине театра им.Кирова - Марии Ивановне Долинской. Комната у него была малюсенькая, даже не комната, а ниша с одним окном, отделенная от коридора фанерной перегородкой.

У этой комнаты была печальная история. Боренька несколько лет тому назад срочно должен был уехать куда-то, кажется во Владивосток с концертами, и, не успев оформить бронь на свою большую комнату в этой же квартире, поручил сделать это брату. А тот почему-то замедлил с этим делом, пропустил какой-то

срок оформления, и комнату отобрали. Когда Борис вернулся, то ему смогли дать вот этой крошечный закуток метров 6-ти всего. Вот в эту-то комнатушку должен был он привезти свою молодую жену. Мне было тогда 23 года, а ему 36 лет. Было ему, бедному, над чем призадуматься. Мы решили, что я пока остаюсь в театре, а когда он устроится в Ленинграде на работу, вызовет меня. Он уехал, а бабушка Ксения вернулась в Свердловск еще в начале зимы, и я осталась совсем одна. Ахматову очень не хотелось меня отпускать, и он даже деликатно намекал мне на то, что может быть Б.А. и вообще меня не вызовет. Вообще-то, это могло случиться, т.к. мы ведь не были даже зарегистрированы. Но я так любила Бореньку, что не могла себе этого представить. И я решила все-таки уйти из театра, уехать в Свердловск и там ждать вызова от Б.А., о чем я ему сообщила.

Туг я вспомнила об одном дорогом друге, разделявшем тогда мое одиночество и так развлекаящим меня. Мальчики со двора принесли мне домашнего чижика. Я с радостью купила его у них, но клетки у меня не было, и он пользовался в комнате полной свободой. И вот в первый же вечер, когда я вернулась поздно из театра, предвкушая встречу с этой очаровательной пичужкой, я его в комнате не обнаружила. Я обыскала все углы, полки и шкафы, но чижика не было. Я, огорченная, решила лечь спать. Стала расправлять постель и вдруг увидела, подняв подушку, что под ней сидел мой дружок - маленький пушистый комочек. Я была страшно обрадована и, конечно, удивлена таким его поведением. А он всегда это проделывал. Даже когда я ложилась спать, он забивался под мою подушку и там проводил ночь. До чего забавная была эта птичка! Меньше воробья, но почти такой же расцветки - серенький с рыжим, он был необычайно подвижным и веселым. Он все время чирикал и прыгал у меня на столе. Ел он из моей тарелки, совсем не боялся меня.

А уж с зеркалом вообще была проблема! Он смотрелся в него, чирикал, как-то весь пыхился и наклонял голову в разные стороны, потом забегал за зеркало, выглядывая из-за него, видимо ища другого, который в зеркале. Не найдя никого, он всприхивал и садился ко мне на плечо и там трещал. Так я была ему рада всегда. Но мое счастье продолжалось недолго. Как-то придя домой из театра, я увидела, что форточка в комнате открыта и чижика нет. Это хозяйские мальчишки сделали. Я горько плакала. А чижик, конечно, замерз на улице, т.к. был тогда сильный мороз.

Проработав в театре еще месяц, я так соскучилась по Бореньке, что решила уехать в Свердловск. Мне казалось, что таким образом я ускорю нашу встречу. Расставание с Ахматовым было очень теплым. Он сожалел о моем уходе и сказал, что я могу вернуться в театр, когда захочу. И вот в декабре 1932 года я появилась в родном доме.

За время моего отсутствия Наташа вышла замуж за Ивана Петровича Санаткина - пожилого вдовца, имевшего дочь Лизу - студентку пед.института. Он имел какое-то техническое образование и был, кажется, механиком. Характера он был своеобразного - деспотического, но к Наташе относился хорошо и вообще был неплохой человек. Он часто ездил в командировки по разным заводам Урала и прилично зарабатывал. В нашем доме жила одна супружеская пара - Терещенко Михаил Иванович и Софья Дмитриевна. У нее был брат Александр Дмитриевич Лебедев. Он был довольно беспринципным молодым человеком, склонным к выпивкам

и не любившим работу. Так вот, Софья Дмитриевна решила женить его на нашей Тонечке в надежде, что он образумится. Тонечка, всю жизнь страдавшая от одиночества, рискнула и согласилась, хотя, конечно, любви тут не было. Когда я приехала, то брак этот был уже заключен, и я впервые увидела Александра Дмитриевича.

Внешность его была неплохая, но чувствовалось, что он безвольный и беспринципный человек. С моим приездом в комнате стало тесно, и он ночевал у сестры на нашем же этаже. В то время он нигде не работал, и Тонечка кормила его, а он частенько просил у нее денег на выпивку, хотя она всячески ограничивала его в этом пристрастии.

И вот начались мои ожидания известий от Бореньки и его вызова в Ленинград. Продолжалось это дольше, чем я могла предполагать, и я вся изволновалась. Боясь растратить деньги, полученные мною в Ижевске, я ничего не покупала, и меня кормил папа, принося мне из столовой с места своей работы обед. Тогда уже опять было очень туго с питанием. Хлеб выдавался по карточкам с места работы, а т.к. я тогда не работала, то даже и хлеба не имела. Но всему когда-то приходит конец. Пришел конец и моим мучительным ожиданиям. Боренька написал, что я могу приезжать. Только потом я поняла, чего это ему стоило и как он рисковал.

И вот собрали меня в путь дорогу. Сложили все мое «приданое» в наш большой сундук, обитый железными полосками и с музыкальным замком. Даже мамин самовар туда положили, обшили сундук домотканой дорожкой и отправили меня, сдав сундук в багаж. Приехала я в Ленинград утром рано. Боренька меня не встретил, не получил телеграммы, которую отправил мой папа после моего отъезда. На вокзале все пассажиры должны были пройти через санобработку. Ее делали тут же на платформе вокзала, в вагончике. И вот тут произошел анекдотический случай. Оказалось, что одежду и белье женщин принимал какой-то бородатый и усталый дядька. Мы, конечно, были страшно смущены и возмущены этим обстоятельством и не хотели перед ним раздеться догола, а он нам говорил добродушно: «А вы, девчаты, не смущайтесь. Я уже на вас досыта нагляделся, больше и смотреть не хочу!». И пришлось нам продефилировать перед ним в костюмах Евы. И что еще забавно оказалось, что у мужчин работала женщина. Просто смех и грех. Наконец, очищенную от всякой скверны, меня пропустили в здание вокзала. Там я позвонила по телефону (благо он у меня был записан) Бореньке, и он вскоре приехал, получил мой сундук, нашел грузовую машину и привез меня к большому серому дому на ул. Пестеля дом 7. Я видела, что он и рад мне, но и чем-то озабочен. А я была просто счастлива, что наконец увидела его, моего любимого мужа. Конечно, величина нашего жилья несколько смущала меня, но в нем было тепло, и рядом был Боренька. О дальнейшем пока и думать не хотелось.

Он мне сказал, что с работой в Ленинграде очень трудно и что он еще не работает, но стоит на учете и надеется все же получить что-нибудь. Потом пошли мы с ним к моему - Юлии Борисовне, которая жила на Кирочной улице вместе со своей дочерью Лидой и внучкой 5-ти лет Леночкой. Там встретила меня совсем седая, маленького роста голубоглазая и довольно полная старуха. Она была приветлива ко мне, и мы как-то сразу почувствовали симпатию друг к другу. Увидев на кресле кучу белья, я предложила сразу его выгладить. Пока я гладила,

она меня расспрашивала о многом и о себе рассказывала. Пожаловалась на тяжелую жизнь (в смысле денежном и продовольственном) и сказала, что ее поддерживают два сына - Володя и Сережа: старший Владимир Аполлинарьевич был художником и архитектором, а второй киноработником - актером и начинающим режиссером.

Оба были женаты: Володя - на Марии Ивановне Долинской, балерине Мариинского театра, а Сережа - на актрисе Тамаре Федоровне Макаровой. Сегодня они должны были прийти к обеду, что они делали очень часто, т.к. были много заняты на киностудии. И вот, помню, когда они пришли, Юлия Борисовна сказала им: «За Бориса я спокойна: Нина - мудрая». Это было забавно, но, конечно, мне полистало. И, надо сказать, в течение многих лет отношения между нами всегда были теплыми и хорошими. Я ее любила и уважала, а она меня жалела и тоже любила. Я одна из ее невесток называла ее с первого дня «мамой», и мне самой это было радостно и приятно, т.к. этого слова я не говорила с 11 лет. За бедом моей особе было мало уделено внимания. Несколько вскользь заданных вопросов, а в основном темой для разговора была работа Тамары и Сергея над фильмом «Люблю ли тебя?» и об их задумке поставить «Семеро смелых». Мне понравилась фигура Тамары и ее лицо, но кожа ее была какой-то сероватой и не очень чистой.

И вот началось довольно тяжелое для нас время. Работы не было. Мои деньги подходили к концу. Борис Аполлинарьевич каждый день ездил на актерскую биржу труда в Габис, а я с волнением и надеждой ждала его дома. Кроме маминих обедов надо ведь было что-то есть и дома. Иногда Борис привозил из буфета Габиса немного каких-нибудь пряничков или печенья, и мы пили чай. Иногда из картошки, которую дала нам мама, я делала тушенку с поджаренным луком. Готовила я на примусе. В квартире было 8 жилищев. Кухня была громадная, и на очень большой плите стояли все эти 8 примусов. Соседи были люди благожелательные, и никаких раздоров никогда не было. В больших комнатах было прохладно, а в нашем закутке - очень тепло, т.к. под окном была большая батарея, предназначенная для обогрева всего коридора. Мой сундук был водворен в наше жилище и поставлен на место козел, покрытых досками, служивших Бореньке кроватью. В комнате помещалось (начиная от фанерной двери) слева: кресло деревянное, маленький столик узенький, 2-е кресло у окна, в углу за окном крохотный шкафчик для посуды, сделанный Боренькой из какого-то ящика, дальше мой сундук и у задней стенки три чемодана один на другом у самой двери. Вот и все. Окно было очень высокое с большим наружным железным подоконником, на котором ютились и ворковали голуби. Окно выходило во двор как глубокий колодез. Под посудным шкафчиком помещалась кучка книг, которые я читала, ожидая прихода Бореньки с бирки.

Я забыла написать, что на второй же день моего приезда Боренька повел меня показать мне все прекрасные места Ленинграда, которые он так любил. Конечно, мы побывали в Эрмитаже. Жаль было только, что это было зимой, и сады были обнажены. А наш дом был всего в 1-ом квартале от Фонтанки, за которой раскинулся Летний сад. Поблизости же был и Михайловский парк с Русским музеем. С другой стороны от дома в 2-х кварталах был Летний проспект - одна из главных улиц города. Климат Ленинграда мне сразу не понравился. Было промозгло и очень сыро, и я, несмотря на зимнее пальто, промерзала насковозь, и даже лицо покрывалось какими-то синими пятнами.

Новый 1933 год мы встретили в семье Герасимовых-Долинских, с которыми я впервые встретилась. Владимир Аполлинарьевич был очень крупный, бритоголовый человек с умным симпатичным лицом. Его жена, балерина Мариинского театра Марочка, как все ее называли, была самой младшей из 3-х сестер Долинских, после Надежды Ивановны и Людмилы Ивановны. Отец их был доктор Иван Лукич - очень солидный и самостоятельный человек, уже умерший к тому времени. Девочки воспитывались с гувернанткой Линой, как ее все звали. Это был почти родной человек в этой семье. Матери тоже уже не было в живых. Надо сказать, что сестры Долинские не отличались внешней красотой, но обладали необычайно тонкими душевными качествами, особенно Надежда и Людмила, которую все звали Мусей. Марочка была несколько иной. Она была более тщеславной, капризной и очень любила красиво одеваться в противовес своим сестрам, всегда скромно и строго одетым. Муся была чтицей филармонии, а Наденька, кажется, нигде не работала, воспитывая свою маленькую дочку Люку, беленькую, маленькую лилию - необычайно нежную девочку. В то время ей было всего годика три. А у Мусы была дочурка Наташа, крепенькая, чернышка девочка с густыми блестящими волосами. Она была старше Люки года на 2. Брак Мусы оказался неудачным, и она одна растила дочку. У Марочки с Володией детей не было, т.к. Мара не хотела портить себе фигуру и обременять себя ребенком, несмотря на желание Володи его иметь. Но они были очень любящими супругами. Володя был значительно старше Мары, и она была второй его женой. Первая, Ксения Николаевна Беренова, была очень болезненной и рано умерла, и Владимир Аполлинарьевич очень быстро женился на Марочке, за что его даже осуждали. Володя с Марой и Муся с Наташей и Каролиной Яковлевной жили в одной квартире. Герасимовы занимали две комнаты, а Муся одну большую. Все комнаты были расположены рядом и сообщались между собой дверями.

Так вот в большой комнате Герасимовых вы и были на встрече Нового года. Народу было много. Мне все было очень интересно, но я, естественно, не чувствовала себя свободной и стеснялась. Но на меня особого внимания никто не обратил, и я присидела весь вечер молча. Мне показалось даже, что Мара как-то недоброжелательно ко мне относится, видя мою скромность и бедность моего платья. Но в последствии меня полюбили все родные Бореньки, а я - их. И даже теперь, когда его уже нет, они остались для меня такими же родными, и наша связь не оборвалась.

Сделав это отступление, продолжаю дальше. Еще недели две мы томилась в безделье и ожидании работы. И, наконец, мы получили приглашение, но не в театр и не в филармонию, а в бригаду, обслуживающую лесозаготовки в Карелии. Выбора не было, нужна нас «подбирала», и мы согласились, тем более, что паек хлебный был 800 грамм и питание бесплатное. Собрали нас 6 человек актеров и 7-ым был баянист. Подготовили репертуар один на всю поездку. Начали с оратории «Дадим лес стране». Потом шли отдельные номера. Я должна была читать стихотворение Демьяна Бедного «Хорошо!», петь частушки и танцевать с одним парнем «лесорубную польку». Ну, и все - кто во что горазд! Оделись мы как можно потеплее, т.к. была середина января, и отправились в необыкновенное путешествие по Карельскому чудным местам. Воспоминание об этой поездке двойное: с одной стороны очень тяжелое, с другой стороны светлое от соприкосновения с природой.

Работали на лесозаготовках сосланные туда раскулаченные крестьяне, поселенные в так называемые «улагы». Жили они в бараках, где спали на двухэтажных нарах. Работали чаще всего на своих же лошадях. Была строгая норма выработки, и если мужик не выполнял норму, ему и норму хлеба убавляли. А он, постепенно слабея, все ниже давал норму и, в конце концов, становился «доходягой», т.е. полуумирающим от голода. Лошадей кормили плохо, и они тоже постепенно приходили в негодность. В этом мы сами убедились, когда приходилось вести лошадей под уздцы или толкать сзади сани, нагруженные нашей поклажей. Сами мы редко присаживались на сани, т.к. мороз давал себя чувствовать, и идти было теплее. Ночевали мы в маленьких избушках с железной печкой посредине на полу вповалку. Ночью «по нужде» высикавали в сугробы за домик. Выдавали нам немного пшена и «сушки» - малюсенькой сушеной рыбки. И мы просили сторожих сварить нам это. Один только раз выдали нам солонину, но ели мы ее с трудом, настолько она была жесткая и соленая. Спалас, конечно, черный хлеб - 800 г - наша основная пища. В одном домике, где нас расположили, мы увидели на чисто выскобленном полу черно-синее пятно, довольно большое. Мы спросили, что это такое, и сторожиха нам рассказала, как недавно один молодой парень-лесоруб, узнав, что у другой сторожихи оказалось подкопленной 2 буханки хлеба, зашел сюда, когда женщина мыла пол, и ударил ее топором, схватил буханки и убежал в лес в надежде сбежать из лагеря, но его схватили. Уж не знаю, что с ним было дальше. Мы сами видели умирающих от голода, которые уже не могли ходить, и их куда-то отправляли. Лица их были как бы раскрашены красками: черно-зелено-синей. В бараках нечем было дышать от развешенных там просушиваемых портянок, валенок. В общем, ужасное впечатление.

Иногда на расчистках дорог от снега видели мы сосланных сюда же грузин. Запомнился мне один: высокий, худой, с иконическим лицом, стоял он в своем башлыке, опираясь на лопату, и смотрел на нас таким печальными взглядом своих черных глаз.

Но красота леса была необычайна! Роскошные густые ели провисали вниз под тяжестью снега. Сосны вздымались высоко вверх свои верхушки, особенно прекрасные при свете солнца. И надо сказать, что мороз, несмотря на низкую температуру, не был так острым среди леса.

Расстояния между «улагами» были большие, и мы могли любоваться природой сколько угодно. Один раз только, помню, пролет был большой, мороз крепкий, лошадь еле тащилась, и мы промерзли сильно, но, поправ наконец в тепло, отогрелись и никто не заболел. Вообще, несмотря на все эти неприятные для нас условия, мы все поздоровели и поспешили. Работали мы там два с половиной месяца до апреля. И вот, вернувшись в Ленинград, нужно мне было по делу нашей бригады зайти в гостиницу «Астория», которая была роскошно обставлена: везде ковровые дорожки, люстры, зеркала, запахи духов. Это так резко отличалось от того, что мы видели в лесу, что я не выдержала, отошла к стенке, чтобы никто не видел, и плакала, потрясенная воспоминаниями о тех несчастных. Но нам надо было жить дальше, а актерской работы по-прежнему не было. Было немного скопленных от лесозаготовок денег и нужно было их растягивать как можно дольше.

Опять начались обеды у мамы и хождения Бореньки на биржу. Вскоре он

узнал, что на лето организуется поездка по Карелии, но мне ехать было уже рискованно, т.к. оказалось, что я «заготовила» себе кого-то, о ком мечтала с самой юности. Тут какой-то случай привел меня в контору «Ленсправки», где нужны были так называемые телефонистки, а попросту работницы, сидящие в kiosке «Ленсправки» и дающие за 5 коп. справку. Паек там был хороший, то есть 600 г черного хлеба и 200 г белого и обед платный в столовой, состоящий опять же из пшена, сушки и зеленых помидоров, накрашенных туда. Конечно, ни о какой картошке не могло быть и речи. В общем, я согласилась там работать. Но сколько затруднений я тут встретила! Особенно, когда меня посадили в справочную Московского вокзала. Это было ужасное для меня время, и я до сих пор не понимаю, как начальство могло меня туда направить. Я и Ленинград-то не знала, а тут нужно было отвечать быстро на всякие железнодорожные справки, справляясь по толстенной книге расписаний, цен, поездов и т.д. Вот была мука! А еще, кроме всего, мне одолевала ужасная сонливость, присущая женщинам в первые месяцы беременности. Помню, бывало, после дневной смены я приходила к маме, валилась на кровать и засыпала, как убитая. Контора «Ленсправки» была далеко от нашего дома, и нужно было ехать на 2-х видах транспорта: на трамвае и автобусе.

Боренька вскоре уехал в Карелию, и я осталась одна. Он страдал язвой желудка, и я все время сушила ему сухарики из 200 гр. белого хлеба и посылала в Петрозаводск, откуда ему их пересылали по местам их работы. Сама же жила на 600 гр. черного хлеба и обедала с отвращением в столовой. Как тогда поддерживала меня мама! Но это было не каждый день, т.к. я работала в разные смены и в разных местах. Измучившись на вокзале, я попросила перевести меня в какой-нибудь другой kiosк, и меня посадили в саду им. Бабушкина. Это было очень далеко от дома. Ехать трамваем чуть не час и сидеть там долго до закрытия сада. Но работа там была куда легче.

А вот тут я забыла рассказать о самом главном. Еще до отъезда Бореньки собралы мы совет, т.е. я, мама, Лида, Боренька, и решали вопрос, оставлять ли мне ребенка или делать аборт. Боренька молчал, и тут Лида и мама в один голос советовали мне избавиться от ребенка, ссылаясь на те условия, квартирные и материальные, в которых мы находились. Я всей душой сопротивлялась их совету, но в конце концов согласилась, что они во многом правы. И вот я записалась в спец.абортарий, тогда платный. Назначили мне день, и я пошла с ужасной тоской на сердце и, конечно, неизбежным страхом. Ночью перед этим я плакала, но все-таки не посмела идти всем наперекор. Меня подготовили к операции. Пришла хирург, которая должна была делать мне аборт, осмотрела меня и сказала, что она не будет меня абортировать из-за воспаления придатков и просила позвать главврача. Тот посмотрел меня и сказал категорически: «Никаких абортов! Вы хотите остаться уродом на всю жизнь и лишиться способности рожать? Марш домой!». Боже! Если б только кто знал, с какой великой радостью на душе бежала я домой и сказала о заключении врачей. Больше меня никто не уговаривал, но спустя много лет Лидочка шутя меня спросила: «Нина, признайтесь, что вы бежали». На что я ответила, что я никогда не вру и что все было на самом деле так, как я тогда рассказывала.

Вот так жизнь моей дочери висела тогда на волоске и слава Богу, что она осталась мне на радость. Теперь не могу не рассказать о картошке. Об одной

лишь картофелине, которую я увидела в парке Бабушкина на дорожке. Она была величиной с куриное яйцо, чуть более продолговатая и розового оттенка. Картошку я не ела очень давно и в большом волнении и с радостью подняла ее с тропинки. Я не могла дождаться, когда же освобожусь, поеду домой я сварю бесценное для меня сокровище. Теперь-то это кажется невероятным, но все так и было. Приехав наконец домой, я разогрела примус и в маленькой кастрюльке стала варить, конечно, нечищенной эту картошку. Я с жадностью вдыхала в себя пар от нее и все тыкала вилочкой, не сварилась ли уже. Тут, конечно, играли роль не только голод, но и беременность. Вот, наконец, картошка сварилась, и я стала есть ее не всю сразу, а отламывая по кусочку и смакуя ее вкус.

В это лето я впервые стала выходить на улицу в очках. Хотя я одевала их в школе и у рояля с 13-ти лет, но носить постоянно стеснялась. Теперь же я, часто езда на транспорте, не всегда могла рассмотреть номер на вагонах и, наверно, главное, я понимала, что теперь я ответственна не только за свою жизнь, но и за ту, что была во мне. Как я уже любила будущего своего ребенка и трепетно прислушивалась к его движениям. А время шло уже к осени. Вернулся с лесозаготовок Боренька, и, наконец, ему повезло. Он поступил на работу в качестве актера в Ленинградский мюзик-холл под руководством Аникаева, большого и остроумного выдумщика. Зарплата была небольшая, положение скромное, но все-таки могли мы уже как-то посвободнее вздохнуть. Я потом пошла в декретный отпуск, за время которого много книг перечитала. Тогда же приехал к нам в отпуск мой дорогой папа, привез детское приданое и погостил у нас.

Боренька тогда уходил ночевать к маме, что он делал почти всегда, т.к. на нашем сундуке нам двоим стало уже тесно, а папу приходилось укладывать на полу. С хлебом в Ленинграде стало легче. Появился коммерческий хлеб, и папа даже увез с собой 3 буханки, т.к. в Свердловске хлеб был только по карточкам. Тогда же, кажется, или с 1934г. открылись и «торгсины» - магазины для выживания из граждан ценных металлов и драгоценностей. О них я напишу немного позднее.

Пришла зима, и приближался срок моих «родин». 4 января я почувствовала их приближение. Сказала Бореньке. Он заволновался и позвонил маме с просьбой увести меня в институт им.Отто, т.к. он не мог пропустить работу (дело было уже к вечеру). Мама очень быстро появилась у нас, не менее взволнованная, чем Боренька. А в трамвае она усадила меня, сама встала рядом и оберегала от каждого толчка и все спрашивала: «Ну, как?». Я чувствовала себя хорошо, а мама напоминала мне квочку, заботливо оберегающую своих птенцов. В приемном пункте института врач-мужчина взвесил меня, обмерил мой живот и сказал: «Когда поедете домой с сыном, зайдите ко мне».

И вот повели меня, рабу Божью, куда-то наверх, проделали все необходимые процедуры и уложили на высокий стол в очень большой родильной, с высокими окнами. Кроме меня там были и другие роженицы. Надо сказать, что страха во мне не было совершенно. Я шла как на праздник встречи со своим ребенком. Но «праздник», конечно, не был безболезненным. Я промучилась всю ночь, а под конец было даже немного страшно, и я закричала: «Я сейчас разорвусь!». И тут врачи прибегли к помощи ножниц и выпустили на свет мое пищащее дитя. На мой вопрос «Кто?» ответили: «Девочка!». А я сказала: «Бедняжка! Ей придется так же мучиться». Дочь моя родилась в 9 часов утра. Большие окна были совсем

синие. Но, странное дело, адская боль сразу меня отпустила, наступило какое-то блаженство, и я захотела есть. Мне дали французскую булку, которую я тут же на столе съела. Немного погодя положили меня на носилки, потом на высокую коляску и повезли еще куда-то. Оказалось, что зашивать. Привезли в большую светлую комнату. Везла меня очень славная медсестра. На стене висели большие круглые часы, которые я видела. Сестра, зная, что меня ожидает, ласково взяла меня за руку, не отпуская в течение полчаса, во время которых продолжалась настоящая пытка - зашивание иголкой и ниткой по живому телу. Но я не пикнула, хотя вся взмокла от пота, лившегося с моего лица мне на шею и на подушку под головой. Когда все, наконец, закончилось, врач сказал: «Ну и терпеливая же мам попала мамаша!». Это я слышала, когда сестра вывозила меня из этой комнаты «пыток». Оказалось, что было наложено 15 швов. Положили меня в большую, длинную палату, где лежало нас рожениц 10 человек. С таким нетерпением я ждала свою дочку, так хотелось все ее рассмотреть! Но привезли мне ее только на следующее утро. И вот увидела я крохотное кругленькое личико, еще красненькое, но такое милое, как мне показалось. Вес девочки был небольшой - 2 кг 700 г, но для девочки, в общем, нормальный. Я попросила няню развернуть ее и увидела тоненькие ручки и ножки, беспомощно трепыхающиеся. Все было на месте и нормально. Я была невыразимо счастлива, особенно, когда она начала сосать, тоже без особых церемоний.

Все время пребывания нашего в институте было для меня праздником. Я уже узнавала голос своей Кисоньки, когда ее везли на коляске вместе с другими ребятами. Имя для нее у нас было выбрано заранее. Я назвала ее Ксенией в честь своей любимой бабушки. Мама тоже одобрила это имя, потому что она любила первую жену Володи Ксению Николаевну, так рано умершую.

Продержали меня в институте немного дольше, чем других - 2 недели, т.к. я почему-то температурила. А я рвалась домой к Бореньке, чтобы показать ему нашу дочку и всецело владеть ею. Но признаюсь, что очень скоро институт мне вспомнился как потерянный рай, настолько оказалась тяжелой для меня физическая нагрузка, связанная с ребенком, отсутствие у меня молока, которое я переживала трагически и плакала, и то еще, что мне никто не помогал. Мама пришла помочь и подучить меня как купать ребенка в первый вечер, а потом она просто не могла уделять мне время. Боренька работал и ночевать со мной даже не мог, т.к. я должна была на сундуке перепеленовывать Кису, купать ее в нашей же клетушке (ванночку он принес от мамы - бывшую Леночкину), потом тут же стирать пеленки. Единственно в чем мне помогал Боренька, это он ходил за грудным молоком на детскую кухню утром. Пока я была в декретном отпуске хоть и трудно мне было, но все-таки не так, как тогда, когда я начала работать и возить Кису в ясельки. Хоть молока у меня не было в достатке, я все-таки не отнимала ее совсем от груди и ездila в ясли ее кормить, чтоб хоть лишний разок ее увидеть. На работу надо было ездить с пересадками, и поэтому из дома я выходила очень рано. Приезжала с ней домой уже уставшая, а надо было ее искупать и постирать. Так, помню я, искупая ее, уложил в чемодан, в котором она у меня «жила», я в изнеможении опрокидывалась на спину на сундук не отрывая ног от пола и моментально засыпала. Просыпалась я часа в два ночи, вставала, стирала пеленки, развешивала их на кухне и только в четвертом часу приснувшись на постель, засыпала до 6-ти часов. А в 7 я должна уже ехать в

ясли и на работу.

Но я хочу сейчас сказать, что, несмотря на такую адскую усталость, как я любила своего ребенка! Бывало, испунаешь ее, оденешь чепчик на ее пышные волосенки, посмотришь на раздумывающиеся щечки, и такая радость охватывает! Уж такой она мне казалась прелестной. Хотя, наверное, не только мне казалась. Людям тоже. Она действительно была очень мила, только худенькая, особенно ручки и ножки.

И вот когда ей было уже 6 месяцев, она заболела бронхитом. Мы понесли ее к хорошему частному врачу по совету мамы. Он взглянул на ее тельце и сказал: «Все ясно! Голодающий индус!» И добавил, если мы хотим сохранить ребенка, я должна бросить работу и заняться всецело укреплением его здоровья, т.е. как можно больше гулять, пить соками, а не доверять это дело яслям и, вообще, питаться нормально самой. Мы так и сделали. С великой радостью оставила я свою «Ленсправку», где столько намучилась, и теперь была неразлучна с Киской.

Боренька скоро уехал с Мюзик-холлом на гастроли, а я осталась одна. Купили мы по случаю «Мальпост» - высокую коляску на 2-х колесах с подставкой, Я по целым дням, если позволяла погода, гуляла с Киской в Летнем и Михайловском садах. Сама я питалась более чем скромно, но для нее покупала яблочки и кормила ее яблочным пюре, и ребенок стал поправляться на глазах, личико даже загорело немного, щечки пополнели, порозвели. И даже посторонние люди стали обращать внимание на нее и говорить: «Какой прелестный ребенок!». Да и сама я за это время поправилась и отдохнула, хотя пеленки все же стирала по ночам. С жирами тогда было еще туго, вернее, купить их в магазине было можно только в «Торгсине». И вот я сняла корпус с маминых золотых часов, которые у меня еще остались после ее смерти, и отнесла в «Торгсин».

За них я брала по талончикам сливочное масло и манную крупу. А потом дала еще большую серебряную разливательную ложку. Больше у меня ничего не было, но все-таки я могла довольно долгое время варить Киске манную кашу. Молоко приносила нам в квартире одна «чухонка», и я брала ежедневно пол-литра. Деньги мне Боренька присылал. Но, все-таки, какое возмутительное дело был этот «Торгсин». На витрине магазина были выставлены всевозможные гастрономические товары: колбаса, ветчина, сыр, конфеты и даже чудесные печеные ватрушки и булочки, обсыпанные сахарной пудрой, плитки шоколада, кофе, какао. А голодные люди должны были исходить слюной, глядя на всю эту роскошь. Ведь они даже черного хлеба не могли наесться досыта, и страдал больше всего бедный люд, не имевший ничего, что можно было бы сдать.

Теперь возвращаюсь мыслями к Свердловску, к 1933-му году. Тонечка рассталась со своим мужем Александром Дмитриевичем, т.к. он не поддавался никаким исправлениям. Он по-прежнему тянулся к ромочке, работать по-настоящему нигде не мог и не хотел, и терпение Тони лопнуло. Она ждала ребенка, но решила, что лучше сама его выростит, освободившись от лишнего груза, повисшего на ее шее. И вот 24 мая 1933 года родилась у нее девочка, которую Тоня назвала Анной, в память своей матери, моей бабушки Анны. Вот так имена моих бабушек остались жить с нами. Помогали нянчиться с Анечкой бабушка Ксения и Наташа, которая тогда не работала. Муж ее, Иван Петрович, зарабатывал прилично и даже сам не хотел, чтобы Наташа работала. Он любил, чтобы жена

была дома и была хозяйкой. Анечка была старше моей Кисы на 8 месяцев, а фактически приходилась мне двоюродной сестренкой.

Не помню точно, когда именно вышла замуж моя крестная Катя. Причем это была довольно забавная история. Как-то летом она услышала со двора, как какой-то дяденька предлагал купить у него яйца. Она выглянула в окно и попросила его зайти к ней. Продавец яиц зашел к ней, и крестная купила у него 3 десятка яиц. Он спросил: «Чего мало берешь?». Она ответила, что живет одна без мужа с дочкой, много не имеет возможности покупать. На что он сказал: «Так выходи за меня замуж!». Крестная засмеялась и сказала: «Надо подумать». Она не придавала никакого значения этому шутовскому разговору и тут же забыла о нем. Но как-то было ее удивление, когда через несколько дней этот человек явился к ней принаряженный, в начищенных сапогах с аккурратно причесанными волосами на прямой пробор и даже чем-то смазанными, чтобы лучше лежали. «Ну вот, я и пришел тебя сватать». Видно, крестная понравилась ему своим крепким телосложением, широким, немного скульптурным лицом и румянцем на щеках. Так и стал он ходить к ней и уговаривать, пока не уговорил. Человек он был хоть и очень простой, но работящий и хозяйственный. Вот так судьба свела, в общем-то, разных людей. Вскоре родился у них двоих Катюша.

Возвращаясь мыслями в Ленинград. Осенью 1934 года, наконец-то, нам обоим была предложена работа в г.Сатке на Урале, в небольшом драматическом театре. Мы, конечно, дали согласие, собрали наши пожитки, не забыв закрепить за нами нашу каморку, и поехали. Городок оказался очень небольшим. Он даже назывался, кажется, не городом, а Саткинским заводом. Сняли мы комнатку в одном очень скромном доме. Еще до отъезда из Ленинграда мы списались с бабушкой Ксенией и попросили ее приехать к нам нянчиться с Кисой. Тонечка и Наташа вошли в наше положение и отпустили ее.

Труппа театра в масштабе города очень скромная, да и сами-то мы тоже были без специального образования, так что надо было мириться с этим и радоваться, что все-таки работаем. Когда я вспоминаю Сатку, встает перед моими глазами образ 3-х летней девочки Зиночки, очень маленькой, бледной, коротко остриженной с большими голубыми глазами и маленьким трогательным ротиком. У нее был рахит, и она не ходила, а ползала на своей голой, холодной попке, таская свои застывшие тоненькие ножки. Мать ее, наша хозяйка, отличалась необыкновенной деликатностью, хотя была неграмотной, но, видимо, из-за бедности ребенок был в забросе, т.к. оба родителя работали.

Зиночка часто приползала к нам и играла с Кисой, которой было уже 9 месяцев. Девочка была также скромна и деликатна, как ее мать, и просто за сердце нас брала. Бабушка Ксения связала для нее шерстяные чулочки. Мы стали надевать на нее теплые штанишки, делать ей соленые ванночки каждый вечер и, конечно, подкармливать наравне с Кисой. Она стала меняться на глазах.

Все было бы неплохо, но неожиданно случилось большое горе. Пришла телеграмма от Наташи о смерти Тонечки. Она заболела менингитом и очень быстро скончалась. Болезнь была мучительной, но Наташа написала нам, как, несмотря на муки, Тонечка шептала: «Я очень люблю свою девочку». Это был для меня ужасный удар. Так несчастливо сложилась вся жизнь моей дорогой и хорошей Тонечки. Плачу! Наташа просила бабушку приехать домой, а к нам она послала нашу очень давно знакомую Настю Вишнякову, которая еще девочкой помогала

иногда бабушке нянчить меня. Наташа и Иван Петрович усыновили Анечку, но фамилию ей оставили материнскую - Грязных, и только спустя много лет Аня переименовала ее на фамилию своего отца - Лебедева.

Надо сказать, что наша Киса тоже не торопилась ходить. К концу Соткинского сезона ей был уже год и 3 месяца, а она все еще не ходила. Это нас очень беспокоило, и мы посоветовались с врачом. Он сказал, что нам надо на лето Кису вывезти на природу, куда-нибудь на песочек и солнышко. Только так мы сможем ее укрепить. Мы переплывались с одной нашей знакомой по Ленинграду - скульптором Екатериной Львовной Брюнелли. Она посоветовала нам поехать в г.Сердобск, где и она намеревалась отдыхать, и обещала даже снять для нас квартиру. Это нас устраивало, и вот, подкопив некоторую сумму денег, мы с Саткой и поехали.

А Зиночка к тому времени уже вставала на ножки, хоть робко, но начинала ходить, хотя ножки ставила как ножицы: колени вместе, а пятки врозь. Мы очень этому радовались. Еще забыла я написать, как у Кисы в Сатке появилась страсть к телятам. Если она видела их за квартал, то тянулась к ним, требуя подвезти ее туда в «коляске» - фанерном ящике из под папирос, который сделал сам Боренька.

Итак, решили мы ехать в Сердобск - маленький городок Пензенской области. Оказался он очень славным, чистым, окруженным лиственными рощами, где пели соловьи. Ни в каком другом месте я не слышала столько соловьиного пения. Речка Сердоба была уютной, маленькой и с чистыми песчаными пляжами, переходящими в зеленые луга. С квартирой устроились благодаря Екатерине Львовне Брюнелли очень хорошо. Она приехала сюда вместе со своей приятельницей - пианисткой и преподавательницей консерватории Еленой Алексеевной Юдиной. Сняли они для себя и для нас 2 квартиры в доме военнослужащих, уехавших в летние лагеря, и квартиры были в нашем полном распоряжении. Дом был одностажный, деревянный без удобств. Пищу проходило готовить на таганке, который стоял на шестке русской печки.

Вот уж где мне досталось! С утра позавтракав, вся наша компания, т.е. Екатерина Львовна, Елена Алексеевна, Боренька и Киса уходили на Сердобу, а я оставалась дома готовить обед. После обеда надо было перемыть посуду, полить хозяйские цветы и вскоре начинать готовить ужин. И так изо дня в день. Редко-редко я могла выбраться на пляж. А потом еще приехали к нам мама с Леночкой, и у меня еще прибавилось работы. Мама, правда, старалась помочь мне, но ей тоже хотелось побыть на природе, и я их отправляла. Она приходила в ужас от этих условий, от этой бесконечной страпни и сажи от таганка.

А Киса наша, начинавшая ходить еще в Сатке, стала здесь уже быстро бегать и часто убегала в соседний дом, где жили много кроликов за проволочной сеткой. Она называла их «воолики» и очень любила, если кто-нибудь из нас ходил за ней. Бежала и отмахивалась от нас ручонкой, твердя «путите» т.е. пустите. За ней тогда был нужен постоянный присмотр, т.к. она делала много глупостей. Например, она могла набить себе в рот маленьких осколков стекла, которое она называла «о-о» - так же как сахар или конфеты. А один раз стала чистить зубы из помойного ведра. Или садилась в садике на песок и сыпала его сверху в раскрытый ротик. В общем, для меня Сердобск явился большим испытанием на выносливость и крепость нервов. Конечно, было приятно видеть

ребенка загоревшим, поздоровевшим, но, не скрою, иногда мной овладевало и чувство обиды из-за того, что считалось нормальным всем отдыхать, получать удовольствие от природы, от общения друг с другом, а я оставалась в стороне от всего этого.

Запомнилась мне по Сердобску одна интересная пара: муж и жена. Он был священником функционирующей в Сердобске церкви, а она попадей - матушкой - как говорят в народе, но забавно было то, что оба они были очень интеллигентные молодые люди, причем оба красивые. У них был свой дом, где матушка завела отличное хозяйство и просто упивалась этим новым для нее делом. У них была чудесная корова, и мы покупали у них молоко. Надо сказать, что в Сердобске почти все коровы были одного типа: очень крупные, палево-белой окраски и с громадным выменем. Когда они шли домой с пастыбы, то это была прекрасная картина.

Прожив в Сердобске 2 месяца и вернувшись в Ленинград. Я забыла сказать, что в нашей комнате жила одна знакомая - Ира, которая умолила нас разрешить жить в ней, пока нас нет. Она была студенткой какого-то вуза, и для нее одной наша клетушка была «раем». Ну, а т.к. всем нам все равно было тесно в ней, то мы, приезжая ненадолго в Ленинград, останавливались у кого-нибудь из родных - или у мамы, или у Владимира Аполлиновича. Так было и в этот раз. Но, к счастью, нам скоро предложили ехать в Кустанай, в совхозно-колхозный театр, и мы согласились.

Кустанай был тогда маленьким степным городком, почти полностью состоящим из небольших частновладельческих домиков. В одном из них и сняли мы комнату. Хозяевами были пожилые люди - муж и жена, простые и доброжелательные. Сюда к нам приехала из В.Течи дальняя родственница - бывшая монашенка Екатерина Зотеевна, высокая, сухоощавая и очень прямая женщина. Выписал папа ее по нашей просьбе. Нас распустило то, что при прописке ее в домовую книгу, было написано «бывший служитель культа». Катя эта была очень стеснительной и никогда с нами не садилась за один стол, а ела в кухне, где и спала. У нее почему-то во время еды начиналось бурчание в животе, и она этого очень стеснялась и говорила, что у нее «катар желудка». Была она очень честной и исполнительливой.

Театр был тесный, холодный. Труппа была поинтереснее, чем в Сатке, и я до сих пор дружу и переписываюсь с Ниной Сергеевной Кузнецовой и Ириной Сергеевной Гиндус - бывшей Жукховской, актрисами этого театра.

Об Ирине Сергеевне хочу рассказать особо. В 1934 году в Ленинграде был убит первый секретарь Обкома, видный деятель, бывший революционер - Киров Сергей Миронович. Последствием этого явились репрессии против всех лиц дворянского происхождения или людей, носящих иностранные фамилии. Их выселяли из города Ленинграда в 24 часа. И вот в число дворян и попала Ира с ее матерью Александрой Дмитриевной, пожилой женщиной, разбитой параличом. Она совсем не ходила и сидела в кресле. Ира была тогда совсем молодой девушкой, лет 19-ти. Высланы они были в Кустанай в 1935 году. Можно себе представить, как Ире было тяжело с большой матерью на руках, без специальности, без средств к существованию. И вот, когда приехал в Кустанай театр, она попросила взять ее на любое положение. Она была привлекательной наружности, чисто русской и отражающей ее происхождение. Ее взяли на вторые роли. Мне

очень жаль было эту девушку. Мы сдружились, и я старалась, чем могла, помочь им. Она часто обедала у нас, и чтобы я ни стряпала, я всегда посылала что-нибудь для ее матери. Ира была умной развитой девушкой, она полюбила нашу Кису и играла с ней.

В Кустанае исполнилось нашей Кисе 2 годика, и мне захотелось иметь еще ребенка. Теперь мне кажется странным, как могло появиться это желание в наших условиях, но, тем не менее, это желание было даже ярко выраженным. Но оно почему-то не осуществлялось, и я пошла обследоваться к врачу. Помню, это был молодой интересный еврей. Он осмотрел меня и сказал, что вряд ли я смогу еще родить, т.к. были не в порядке придатки, т.е. то, из-за чего меня и не абортировали с Кисой. Я расплакалась, кинулась на грудь к врачу и молила его помочь мне как-нибудь. Он был растроган, стал меня успокаивать и сказал, что попытается помочь. И вот, походив некоторое время на процедуры, я почувствовала, что мечта моя осуществилась. Это было в мае месяце.

А теперь вернусь в зиму. В январе месяце у Нины Портновой, жены нашего директора был день рождения, и она пригласила нас и еще кое-кого к себе. И вот мы, посидев у них довольно долго, уже ночью вышли на улицу и попали в совершенно невероятную пургу. Снег крутился вокруг нас сплошной белой пеленой. Ветер свистел и бил в лицо. Снегу навалило массу, выше колен. А когда мы выбрались на площадь, там снегу было уже почти по пояс вышиной. На расстоянии протянутой руки ничего не было видно. Мы потеряли друг друга, и только переключаясь узнавали, кто - где. Был момент, когда мы пожалели, что не остались у Нины ночевать. Еле-еле мы нашли угол дома нашего квартала, ошупью и с трудом добрались до наших ворот, но калитку уже нельзя было открыть. Борянька сумел как-то перелезть через забор и увидел, что с ветренной стороны сени были занесены снегом по самую крышу. Он с трудом обошел дом с подветренной стороны и залез в сарайчик, взял там лопату и отгреб снег от калитки, впустив меня во двор, а потом стал разгребать снег от крыльца дома, что заняло не менее получаса. Все это было удивительно и интересно, несмотря на то, что мы замерзли и снег забился нам за шиворот. Я еще никогда в жизни не видела такого бурана и столько снега. А утром все отгребали от своих домов снег и наваливали его в громадные кучи по бокам дороги. И получались целые стены из снега высотой такой же, как стены домов, и через них не видно было противоположной стороны улицы. Долго мы еще ходили к нашим домам по коридорам, образованным стенами из снега. Тогда зимы были настоящие, устойчивые, не то что теперь. Потом, ближе к весне, стали снег вывозить за город, иначе мог бы быть настоящий потоп.

А теперь закончу эту зимнюю «балладу» и вернусь к весне. Но не могу не упомянуть о доме Мокроусова и его жены, с которой мы познакомились и даже сдружились, часто бывая у них в гостях. Это были очень интеллигентные русские хлебосолы, любившие угощать гостей. У них были чудесные молочные продукты: молоко, которое мы у них покупали, и такой чудесный творог, какого-то особого приготовления, какого я не ела никогда ни у кого. У них было пианино, и мы с Борянькой иногда баловали их классической музыкой, которую они так любили. Но имя доктора Мокроусова вызывает у меня в памяти одно из страшных воспоминаний, о котором я сейчас расскажу.

Весной 1936 года наш театр должен был обслужить колхозы, и были

организованы бригады. Меня не взяли, т.к. я там не пригодилась бы, да и Киска была еще маленькой. Наша няня Катя отпросилась съездить домой в В.Течу. Борянька уехал, и я осталась одна с ребенком. Мокроусовы тогда тоже собирались переехать в другой город, к нашему большому сожалению. И вот в одно из воскресных дней встала я довольно рано, собираясь испечь что-нибудь для нас с дочкой. Она еще спала в своей кровати. Я ушла на кухню. Хозяев дома не было. Я стала возиться с тестом. Потом зашла зачем-то в комнату и вдруг увидела из-за спинки детской кровати высунутую ручонку Кисы, как-то неестественно дергавшуюся. Я подбежала к ней и оцепенела от ужаса. Ребенок мой умирал! Глазки закатились, личико посинело и у ротика была пена, а колени были почти у подбородка и всю ее трясло. Я, как была не одетой, босиком кинулась что есть силы к Мокроусовым. Он как раз увязывал свои вещи, собираясь на вокзал. Я, задохлась, крикнула: «Киса умирает! Спасите!». Доктор быстро вскочил и, несмотря на то, что жена его крикнула: «Куда ты! Мне опоздание!», помчался бегом к нам.

Он пощупал лобик Кисы и быстро сказал: «Холод на сердце и на лоб, у нее нервный припадок. Сделайте завтра анализ на малярию». И убежал. Я стала прикладывать Кисе мокрые тряпки, и судороги скоро прошли. Личико уже не дергалось, и только под глазками были черные круги. Она затихла и вдруг тихим, тоненьким голоском начала шептать стихи: «Журавли-то мохноноги, не нашли пути дороги». Это она из любимой книжки. Тут я разрыдалась, не выдержав потрясения. И плакала, и смеялась от радости, что жива моя дочка, не погибла. На следующий день я понесла ее в больницу. Там сделали анализ и сказали, что нашли малярию, приступы которой должны повториться через день. С каким страхом я ожидала этого дня! Я давала Кисе хинин, смешивая его с вареньем. И вот почему-то, к моему великому счастью, ни в тот назначенный день, ни в последующие приступ не повторился. Через месяц бригада вернулась домой. Катя наша тоже приехала, и все вошло в свою колею. Но тут началось для меня еще одно испытание, о котором тяжело вспомнить.

Некоторые мои «доброжелатели» из театра сказали мне, будто они заметили, что Б.А. в поездке ухаживал за Ирой Жуковской, с которой был в одной бригаде, и что недавно, уже здесь, случайно видели, как Б.А. поцеловал Ирочку в щеку. Эти «новости», конечно, не могли не обеспокоить меня, да и я сама заметила, что Борянька недостаточно ласков и внимателен ко мне. А Ира перестала у нас бывать, что явилось еще большим подтверждением происшедшего. Пришлось мне объясниться с мужем, после чего отношения наши с ним были испорчены. Так продолжалось некоторое время, очень тяжелое для меня. Но далеко ли зашли его отношения с Ирой, я так и не знаю даже до сих пор. Я как-то стеснялась его спрашивать. Тогда я решила ехать в Свердловск и сказала Б.А. об этом. В театре его все осуждали за его поступок, зато, что я жду еще ребенка.

Поверив в то, что я действительно могу уехать, Борянька как-то «протрезвел», попросил у меня прощения и обещал, что у нас все будет по-прежнему. Слово свое он сдержал, и в последующие 35 лет нашей совместной жизни не давал мне повода для обиды или ревности. Он был чистый человек и с годами все больше ко мне привязывался и считал меня «умной», а я уважала его за его зрелованность, культуру и не могла забыть то чувство влюбленности в него в начале нашей жизни. И мне очень жаль, что в характере его была

неуравновешенность, нервозность и повышенная раздражительность, что впоследствии сказалось на отношениях с детьми.

Теперь обращусь опять к тому Кустанайскому лету. Пусть вас не удивляет, что иногда я вспоминаю и описываю наряду с важными событиями моей жизни самые незначительные мелкие случаи. Я всегда очень любила приглядываться к разным явлениям в природе или в жизни животного мира. Так вот, тем летом я наблюдала одно забавное и очень тронувшее меня поведение хозяйского петуха. Это был простенького вида пестренький петух с зеленоватым хвостом. Но он был очень трогательный семьянин. Он так активно звал курочек, если находил какое-нибудь зернышко на земле, так обхаживал своих жен, что нельзя было равнодушно смотреть на него. И вот однажды я наблюдала такую сцену. Одна курочка стала «роститься», как у нас говорят в деревне, т.е. протяжно выпевать свое «коко-коко», извещавшее, что она хочет снести яичко. Тут же подбежал к ней наш Петя, галантно обошел ее бочком, касаясь одним крылом земли, и повел к сарайчику. Вспрыгнув на высокий порог его, он стал кланяться и издавать свои отрывистые «ко-ко-ко», приглашая курочку войти в сарай. Я решила наблюдать, что будет дальше, оббежала сарайчик с обратной стороны, нашла между досками щель и стала смотреть. В углу сарая была низенькая корзина с соломой на дне. Вот Петя подошел первый к ней, потряс над ней бородакой, не переставая коковать, и предлагая курочке сесть на соломку, что она и сделала, долго умищаясь на ней. Петя встал рядом и стал стонать, да так забавно, что я чуть не рассмеялась. И пока курочка не снеслась, он пел свои стоны. Когда же она выпрыгнула из гнезда, он наклонился над ним и опять коротко и удовлетворенно «кокая» осмотрел яичко и повел курочку к выходу. Там он еще раз совершил свой обряд и только тогда отошел от нее. Я была растрогана и подумала: «Вот бы все мужья были так нежны и внимательны к своим женам! Многому надо бы поучиться человеку у животных!».

А ближе к осени произошла у нас большая неприятность с Кисуней. Она внезапно сильно и мучительно стала заикаться. И произошло это, казалось бы, из-за сущего пустяка. Как-то под вечер Киса сидела с няней Катей на скамеечке у ворот. Девочка из соседнего дома тихонько подкралась и крикнула: «Киса!». Та испугалась, даже вздрогнула, и домой пришла уже заикающаяся. Это было для нас неожиданным ударом, и даже сама Киса плакала, когда не могла что-нибудь выговорить. Но, к счастью, года через два все прошло бесследно, постепенно ослабевая.

Наш театр был направлен на осенне-зимний сезон 1936-37гг. в город Балхаш на строительство медеплавильного завода. По существу, города еще не было. Были бараки, где жили строители, но театр, вернее, большой клуб был уже выстроен. Вот нас актеров и поместили всех в одну очень большую комнату. Можно себе представить, как это нам понравилось. Среди нас были и дети, и одна бабушка, и один грудной ребенок жены директора, для которой даже не нашлось отдельной комнаты. Тут же мы и готовили еду на примусах и керосинках. Горячую воду приносили из «титанов», которые стояли на улицах поселка, около которых нередко происходили драки между казаками и русскими из-за нарушения очереди. А вода в озере Балхаш была соленая, очень невкусная, до отвращения. Приходилось чай пить только со сгущенным молоком, которое всегда было в магазине. Зелени совсем не было. На земле - ни травинки! Собственно, земли,

как таковой, тоже не было. Было что-то вроде щебня и крупной гальки. Вокруг пустыня.

Никакого скота, конечно, не было и в помине, а следовательно, не было и молока. Мясо забрасывали очень редко. Иногда сосиски. Питались мы преимущественно рыбой, которая здесь была в избытке. Тут я впервые познакомилась с рыбкой маринкой, у которой была черная подкладка. Она, говорили, была ядовитой, и ее надо было обязательно снимать. Вода в озере была зеленовато-голубого цвета. Однажды мы с Боренькой покатались по озеру на лодке. Озеро очень большое и глубокое. Нашу Катю мы с собой сюда уже не взяли и хорошо сделали. Тут мы всегда могли наблюдать за Кисуней и, кроме того, нам помогала в просмотре за детьми бабушка - Акулина Ивановна, приехавшая с одной семьей.

Да! О Балхаше не сохранилось хороших воспоминаний, разве только о Журке - журавле, который почему-то прижился к театру и рассказывал около него, принимая наши подношения. Зима на Балхаше была очень холодной, ветряной, и мы иногда мерзли в нашем большом общежитии. Время шло, и нужно было подумать о том, где мне родить. Все говорило за то, что здесь мне нельзя было оставаться, и я решила ехать в Свердловск, взяв с собой и Кисуню. И вот в начале января 1937 года собралась я в дорогу. Станция была не в самом Балхаше, а на некотором расстоянии от него. В ту пору железная дорога была только проложена, и единственный поезд, проходящий через эту станцию, ходил не регулярно. Нам очень не повезло: ждали мы поезда 2 дня. Первую ночь нечеловично прямо на вокзале, привалившись к моим чемоданам, сидя на полу. Никаких диванов и лавок в вокзале не было. Меня страшно мучила моя неизменная изжога, особенно сильная во время беременности. На вторую ночь Б. устроил меня ночевать в какой-то дом поблизости от станции. Наконец пришел поезд. Народу было масса, но меня еле-еле втолкнул с Кисой в вагон и уприсил каких-то солдат уступить мне одну нижнюю полку. Те скалились, видя мое положение, и в дороге помогли мне, как могли. А дорога оказалась неожиданно долгой. Ехали мы от Балхаша до Свердловска 10 дней. В пути поезд останавливался и стоял бесконечно долго где-нибудь в степи. Солдаты мои бежали за снегом, т. к. чая в поезде никакого не было. Я растапливала снег в топке вагона, и мы с Кисой размачивали в этой серой воде хлеб или сухари, добавляя туда взятое с собой сгущенное молоко, и этим питались всю дорогу.

Ох, и устала же я! Спать с животом на одной полке с Кисой было тесно и неудобно. В вагоне не всегда было тепло, т.к. в степи был сильный мороз и ветер, задувавший во все щели и окна вагона. И как мы только не разболелись в такой обстановке. А изжога меня просто изводила! В общем, это было незабываемое путешествие. Да еще, слава Богу, что я не вздумала рожать, что могло запросто случиться, т.к. срок родин предполагался числа 18 января. Но мой малыш задержался во мне еще 10 дней. Из Караганды, мимо которой мы проезжали, по моей просьбе солдаты послали пале телеграмму с номером поезда и вагона, и он встретил нас. Дома была Наташа с Иваном Петровичем, Аня и бабушка Ксения. Не могу сказать, что Наташа была обрадована моим приездом. Я это почувствовала. Да это, наверно, и не удивительно, хорошо еще было, что Иван Петрович должен был в конце января ехать на работу в один из уральских заводов и брал с собой Наташу и Аню. И вот 27 января у меня были именины,

которые по старинке мы отпраздновали. Правда, уже без Санаткиных, т.к. утром 27-го января они уехали. Пришла крестная Катя с Колей и папа с Елизаветой Васильевой и Мусей. Мы очень славно посидели, поговорили за чайной чашкой. Когда все ушли, я перемыла посуду и легла спать. Но вскоре почувствовала, что заболел живот, а т.к. боли появлялись периодически, я поняла, в чем дело, пошла к Антоновым и разбудила папу. Он быстро сходил куда-то, позвонил по телефону и вскоре приехала за мной «скорая помощь», машина из родильного дома. Я попросила папу опять позвать к нам Настю Вишнякову, которая приезжала к нам в Сатку, чтобы она пожила с бабушкой и Кисой, и спокойно поехала на встречу с моим еще неизвестным мне дитенком.

Главврачом и директором нашего института был профессор, который применял обезболивание родов посредством эфирной маски. И я родила своего сына в чудесном сне. Мне виделось, что я кружусь в хороводе с девушками на прекрасном цветном лугу. И так мне было легко и весело. Но я все-таки ощущала сам момент рождения ребенка. Он выскользнул из меня совершенно без боли. А через какое-то небольшое время я проснулась и узнала, что у меня родился сын. Великая радость и даже гордость мною овладели. Сын, о котором я даже боялась мечтать, и мы с Кисой ждали Танечку, как ей хотелось назвать свою будущую сестричку. Правда, на всякий случай имя сыну было намечено, даже два: Андрей или Алексей. И вот, я решила, что родился Андрияш. Андрияш мой оказался чудесным, как сказал врач, ребенком. Вес был хороший - 3,850 и рост - 52 см.

В меру полненький, он был смуглый и с очень густыми волосами, которые мне даже приходилось расчесывать гребеночкой на косой пробор. В первые дни он очень походил на казашонка, и я решила, что это от того, что я наблюдалась на казах. Родился он 28 января в 1 час 45 мин. День был очень морозный и солнечный, и окна были все в крупных морозных листьях. Я просто плавала в блаженстве от того, что у меня теперь есть сын, что обошлось даже без му. Кстати, швы опять пришлось накладывать, но тоже под наркозом. Потом почему-то этот метод отменили, найдя его не безопасным для здоровья женщин.

Дней через 10 выписали нас домой, но сказали, что нужно еще попривыгивать пупок в диспансере. Домой нас отвезли на той же машине, что и увозили. В комнате было сильно натоплено и температура была сносяной. Настя и бабушка встретили меня очень ласково и накормили чудесной горшочницей из крупного желтого гороха. Это потом было нашим основным питанием. Как тогда мы были не прихотливы к еде! А эта горшочница для меня была просто лакомством!

Киса долго рассматривала Андрияша и сказала, что у него «мешочек скамей». Она была несколько разочарована, что я привезла не сестренку. Бабушка Ксения уже тогда была очень слаба и все лежала, а хозяйничала Настя. Это была синеглазая, очень маленькая женщина, перенесшая в своей жизни два кесаревых сечения, но потерявшая обоих детей в младенческом возрасте. В первое время молока у меня было достаточно, и я даже отжимала его в рябенкушку кружечку. И вот Киса как-то захотела попробовать мамин молочко, оно ей понравилось, и она каждый раз, когда я кормила Андрияша, приносила маленькую скамейку, усаживалась на нее с кружечкой в руках и все глядела, как сосет братик, спрашивая: «Он еще не покушал?». Это было очень забавно.

Но, увы, мое молочное счастье скоро закончилось, и я поняла, что малыш не наедается досыта. Такое это было для меня расстройством! Пришлось

прикармливать. А тут еще поджидала новая беда. Носила я Андрияшу на прикивание пупка через день и, видимо, простудила, т.к. стеганого одеяла у меня не было, и я заворачивала его в два байковых. И вот получилось воспаление среднего уха. Боже, как он кричал, бедняга, за несколько дней и я истрадалась вместе с ним. Потом из уха потекло и стало легче, но текло потом еще очень долго, наверное, года два. Нужно было, наконец, зарегистрировать малыша, но прежде, чем это сделать, я написала в Ленинград, спросив маму, как она хочет назвать внука. И она прислала телеграмму с поздравлением и пожеланием назвать Алексеем в память своего убитого на войне сына. Так я и сделала, переименовав своего Андрияшу в Алексея, о чем не жалела и не жалея тогда.

Тут надо сказать, что Маня, моя подружка, тоже была уже замужем и у нее родилась дочь, которую она назвала в честь меня Ниной. Это была светловолосенькая девочка с крупными локонами пепельных волосиков. Жаль только очень, что жизнь семейная Мани не сложилась, и девочку воспитывала сама Маня и бабушка Екатерина Яковлевна без отца.

Время шло, зима подошла к концу, пришла весна, отпуск мой кончился, надо было ехать на работу. Театр наш открыл тогда свой летний сезон в Актюбинске. Распрощалась я с моими дорогими родственниками, папа проводил нас, и мы отправились опять в Казахстан, в Актюбинск. Алеша мой там всем понравился, а особенно, конечно, отцу - Бореньке. Жили мы опять в очень скромной комнатке. Сносила я Алешеньку в диспансер, и там сказали, что нужно уже прививать оспу и выписали питание. Тогда я совсем не кормила Лешу грудью, хотя ему было только 4 месяца. Привили ребенку оспочку, которую он перенес не легко. Поднималась высокая температура, и ручка сильно болела, и начался поносик, который никак не останавливался. Проработали мы в Актюбинске месяц, и нас перебросили в Караганду. Дали нам комнату в театре, что нас очень устраивало, т.к. няни у нас не было. А Алеша все болел. Чего только мы не делали, чем только не поили нашего мальчишка, а из него текла и текла какая-то сероватая, как жидкая манная каша, жидкость почти без запаха. Врач договорился брать молоко от одной коровы, и Боренька договорился с одной немкой frau Марией, которая жила в немецком поселке неподалеку от Караганды в Майкудуке и привозила на продажу очень жирное молоко. Узнав, что у нас так болел Алеша, она предложила привозить нам свое грудное молоко, которого у нее было в избытке и вполне хватало ее маленькой дочке.

Мы, конечно, были ей очень благодарны и платили за молоко. Возможно, что только из-за этого Алеша не умер, но понос все продолжался. В общей сложности это продолжалось четыре с половиной месяца. Страшно даже вспомнить, как все это было. Мальчик превратился в скелетика, обтянутого кожей. Он не мог даже громко плакать. Была одна страшная ночь, когда мы думали, что Алеша умирает. Он уже не пищал, лежал на подушке с закрытыми глазками и черными кругами под ними и редко дышал. Я не могла на него смотреть, отошла, мы сели рядом с Боренькой и я уже думала «уж поскорей бы кончилась эта мука, раз ему суждено умереть. Так мы просидели всю ночь, но он не умер. Утром тихонечко запищал и немножко пососал из бутылочки грудного молока. Так он зацепился за жизнь, но все еще болел.

Киса наша часто была предоставлена себе из-за болезни Алешки. Ей очень нравилось бегать по саду, в котором стоял театр, а особенно она любила по

вечера убегать на танцплощадку, взбиралась там на скамейку, сидела, болтала ножками и смотрела на танцующих. Я всегда находила ее там. Ей было уже 3,5 годика. В августе закончились наши гастроли в Караганде, и нужно было ехать в Ленинград. Мы очень беспокоились, как повезем и чем будем кормить в дороге нашего большого ребенка. И тут на помощь нам пришел брат бывшей жены Бореньки, Инны Сергеевны, врач - Кепсарин Сергеевич Архипов, который заведовал здесь лабораторией. Он протерпелизовал массу бутылочек с рисовым отваром, жидкой манной кашкой, черничным кисельком и с кипяченой водой. Мы наполнили ими две большие коробки. Алешу увезили на подушке, все еще очень слабого. И вот произошло чудо. Ребенок наш в вагоне стал лучше есть, стул стал меняться, желтеть и густеть, и к концу нашего пути ребенок наш поправился. Даже личико пополнило. Радости нашей не было предела. Ехали мы что-то около недели или дней 10, уж не помню теперь. Что тут сыграло решающую роль, так и не знаю: или стерильность, или перемена климата. Ведь в Караганде было очень жарко.

Помню, отпуск этот мы прожили у Герасимовых. Для того, чтобы попасть в Ленинград, нам часто в наших поездках приходилось делать в Москве пересадку, и мы иногда даже делали остановки там и жили тогда какое-то время у двоюродной сестры Бореньки по материнской линии - Ксении Давидовны Кусевицкой - дочери сестры Юлии Борисовны - Марии Борисовны, о которой я писала раньше. М.Б. жила в Свердловске, а ее два сына Брагини Шура и Володя имели самое близкое отношение к братьям Антоновым - Вере и Тане. Володя даже был отцом девочки Вики, жившей на попечении моего папы. Вот как переплелись здесь наши судьбы. У Ксении Кусевицкой была сестра - Виктория Давидовна, живущая в Шанхае. Она была замужем за богатым ювелиром - Опиковским. Муж Ксенечки - Кусевицкий Иосиф Адодьфович - был врач патологоанатом, в будущем профессор. Они были бездетны. Им так нравился наш Алеша, что в одно из наших посещений они спросили нас, не сможем ли мы отдать им нашего мальчика. Мы, конечно, отказались, но вот теперь я иногда думаю, что судьба Алеши могла бы сложиться интереснее и лучше, чем это получилось. Он бы не знал нужды, которая нас часто преследовала, получил бы серьезное музыкальное образование и жил бы в более спокойной обстановке, чем та, которая складывалась у нас в отношениях между отцом и детьми.

Но тут я оправдываю себя тем, что отдать своего любимого ребенка - это значило бы для меня как вырвать из груди кусок сердца. Это казалось мне совершенно невозможным, и я думаю, что почти все матери поступили бы так же, как я.

В 1938 году мы переменили много мест работы. Были в Ленинградской области, и в Аткарске, и в г.Рассказово, где наш Алеша пошел в 1 год 4 месяца, также, как Киса, не рано. Лето мы работали в самостоятельности под Рыбинском на строительстве канала Москва-Волга. Там жила Лидочка сестра Бореньки с мужем Александром Федоровичем Бахановым и с маленьким сыном Вовочкой, который был младше Алеши, еще не ходил. Там мы много времени проводили на берегу Волги, купались, но кончилось это большим страшным несчастьем. Вовочка заболел дизентерией и умер. Все мы были потрясены. А Лидочка прямо убита этим горем. Такой был славный сероглазый мальчик! А случилось это, наверно, потому, что он наглотался сырой волжской воды во время купания.

Вернувшись в Ленинград поздней осенью, мы некоторое время не работали и получили предложение ехать в г.Карачев в Орловский областной колхозно-совхозный театр уже зимой. Другого выбора не было, и мы поехали. Театр этот имел базу в Карачеве, а обслуживал всю область. Причем 20 дней были в поездке, а 10 в Карачеве готовили репертуар и отдыхали, т. к. в поездке выходных не было. Когда мы приехали в Карачев, нам в театре сказали, что мы должны немедленно ехать в область, т.к. театр там и нас ждет. Пришлось нам срочно искать квартиру с хозяйкой, которая взялась бы ухаживать за нашими детьми. С трудом, но все-таки Боренька нашел такую Анну Эрзостовну Солдун, муж которой исчез в 1937 году, арестованный неизвестно за что, тогда это не было редкостью. У нее было три дочери. Младшая Галя была немного старше Кисы.

И вот пришлось нам оставить наших ребятишек маленьким с совсем чужой женщиной и на следующий же день уезжать. Тяжело мне было и тревожно на душе, но надо. Сколько раз в жизни приходилось подниматься к этому неумолимому слову «надо». Пришлось олять осваиваться на новом месте в новом коллективе театра, который оказался интереснее, чем Кустанайский.

Возвратились мы в Карачев, как сейчас помню, в очень холодную ночь со снегом и ветром. Вещи наши везли на санях, а мы все шли с вокзала пешком. Во дворе было темно и холодно. Анна Эрзостовна открыла нам и сказала, что Киса больна. Высыпала какая-то мелкая сыпь по всему телу. Она думала, что может быть это потница, т.к. она старательно закутывала ребят от холода. Как это меня встревожило, можно себе представить! Но Киса не смотря на болезнь чувствовала себя нормально, и оба ребенка так были рады нашему приезду! Вызванный нами врач нашел, что у Кисы скарлатина и потребовал немедленного помещения в больницу. А Алеша, как ни странно, не заболел, хотя он все время был рядом с Кисой. И вот, закутав нашу больную, отнес ее папа в больницу, где ей очень понравилось. Там же она вскоре схватила корь, но обе болезни протекали в легкой форме. Подошел Новый год 1939-й. Мы купили елочку, украсили ее, как могли, и отнесли в больницу. А для Алеши сделали другую.

Когда прошел срок карантина и Кису выписали, она не хотела идти домой, т.к. ей понравилось детское общество в больнице. Вот так и потекла наша карачевская жизнь. Анна Эрзостовна была хорошей женщиной, и мы потом спокойно оставляли на нее ребят, а на лето брали их с собой. Сколько годовод мы тогда обзвездили!

Посмотрели много интересного. Были в Дедьково на стеклянном заводе, в Погене на бумажной фабрике, в Новозыковке на спичечной фабрике. В Лодиново было большое озеро и много рыб. В Карачевском театре пришлось мне побывать и актрисой из-за такого сочетания обстоятельств, когда 6 наших актрис пошли в декретный отпуск и некому было играть. Я очень всегда интересовалась занятиями режиссера с актерами, и он предложил мне попробовать себя и, кстати, выручить театр. И я сыграла несколько маленьких ролей и одну большую в пьесе Арбузова «Дальняя дорога» - роль Топсика - девочки-подростка, после чего мальчишки на улице меня узнавали и кричали «Топсик! Топсик!».

Во вторую зиму нашей карачевской жизни неожиданно заболела Анна Эрзостовна, тяжело и надолго, и нам пришлось взять другую няню для ребят. Это была Мария Ивановна Петрухина - необычайная «Лиса Патрикеевна», как мы потом убедились. При нас она была необычайна ласкова с нашими детьми, а без

нас совершенно перевоплощалась и даже ругала их. Например, Кису она обзывала «кикимора заморская». Кроме того, она обворовывала нас, как могла, таская продукты в семью своей сестры, с которой жила, и подкармливала своих племянников. А с продуктами уже тогда было трудно, и, кроме того, нам все время задерживали выплату зарплаты, что было очень тяжело. Театр был на хозрасчете и зависел от сборов. В Карачеве я получила неожиданное письмо от Иры Жуковской - девушки, из-за которой мне пришлось много пережить в Кустанае. Она как-то узнала наш адрес и написала мне покаянное письмо, в котором сообщала, что она вышла замуж, родила дочку - Инночку, и что она теперь только поняла, какую боль она мне причинила, и просила простить ее. Я написала ей хорошее письмо, «отпустила» ее грехи, и с тех пор мы переписываемся и встречаемся не раз как друзья. В Карачеве же я получила письмо от Наташи, огорчившее меня. О том, что бабушку Ксенью она вынуждена была поселить в богадельню, т.к. они с Иваном Петровичем постоянно меняли место его работы, переезжая из одного города в другой, а за бабушкой не кому было ухаживать. Очень меня это огорчило, но сама я никак не могла взять мою дорогу к себе. Жили мы в одной комнате, да и разъезжали постоянно. Я, кроме того, испытывала почти постоянную нужду в деньгах. Так и пришлось с этим смириться. Я писала бабушке, посылала фото ребят, а она мне писала (кого-то прислала, т.к. была неграмотна), что она целует эти карточки со слезами. Она совсем уже не вставала и вскоре умерла. А мне до сих пор тяжело это вспоминать.

Вспоминаю одну карачевскую радость. Как-то Боренька пошел на рынок купить курочку. А там заведено было продавать кур живьем. Вот он купил одну пеструшку. Пока отсчитывал деньги, она несла тут же на прилавке яичко. Хозяйка курицы, смеясь, отдала Бореньке и курицу и яичко и сказала, что эта пеструшка очень ноская. Ну, как тут можно было резать такую хорошую! Мы решили ее оставить и попросили у Анны Эрестовны разрешения поселить курицу в курятник, где никто не жил и где был даже наесет. Она разрешила, но с условием, что курица не будет попадать в огород. Я купила длинную тонкую веревку, вернее, бечевку, привязала пеструшку за ногу к двери курятника. Она расхаживала по двору, заросшему конотопом, и была довольна. Несла она каждый день. Как было приятно брать из лукошка теплое круглое яичко и нести в дом. Немного погодя мы решили купить ей подружку, чтобы не было скучно одной, а потом размахнулись и на петушка.

И вот у меня появилось свое хозяйство. Втроем на веревочках они весело пощипывали травку, Петя пел, курочки кудахтали, и я была счастлива. Я даже сама не знаю, почему я так любила все звуки, связанные с деревней. Наверно, это заложено во мне от природы. Так у нас и жила эта троица, и почти всегда была пара яичек для ребят.

Улицки Марию Петровну в воровстве, мы с ней расстались, к радости ребят, и нашли очень хорошую, добрую, интеллигентную старушку - Марию Дмитриевну. Когда зимой мы бывали дома, она только на день приходила к нам, а на ночь уходила домой. Появился у нас старенький патефон, купленный Боренькой в комиссионном, и несколько пластинок. В их числе «Прялка» Менделсона, «Хоровод гномов» Грига, 3-я песня Леля и уж не помню, что еще. Как мы любили сесть вокруг и слушать музыку вместе с ребятами. Да вдвоём еще жевать чудесные крендели, которые мы вносили в дом с мороза и отогревали в печке,

ели горячими, похрустывающими, с блестящими корочками.

Прожили мы 1939-й и 40-й годы хотя и очень скромно, но тихо и мирно. В 1941-г. мы взяли ребят на летние гастроли с собой. Киске было уже 7 лет, Алеше 4 года.

Прежде, чем писать о страшном времени для нас и для всей страны, я хочу «на прощанье» вспомнить еще раз о своем дорогом отце - Василии Феофистовиче, рассказать о нем, как о человеке, и о том, как закончилась его тяжкая, в общем, жизнь. Многое ему пришлось пережить. Начиная с того, что он ввалил на себя заботу о своей семье, т.е. о сестрах и матери. Молодним человеком ему не пришлось ни погулять, ни поразвлекаться, а только работать и работать без конца. После женитьбы - смерть второго ребенка, моей сестрички - Ольеньки, о которой он сокрушался всю жизнь. Потом его арест по обвинению в подлоге, которого он не мог сделать просто по своей честнейшей натуре. Затем измена жены и разлука со мной. Дальше - насильственная эвакуация из деревни, скитание по разным городам. В Николаеве - отсутствие работы по специальности, где он стал извозчиком, чтобы прокормиться. По возвращении домой в Свердловск - был обворован то ли носильщиком, то ли жуликом, работающим под него. Неожиданно для всех он вдруг, по-видимому, по-настоящему влюбился в Елизавету Васильевну Антонову, бывшую миллионершу, и не побоялся опять звать себя всю ее семью, т.е. четырех человек, не приспособленных к жизни (с Елизаветой Васильевной даже пытался). Пленился он, видимо, только остатками ее белой красоты, а особенно бархатными карими глазами и хорошеньким прямым носиком. Эта женщина не блистала ни умом, ни интеллектом и мало заботилась о нем, отдавая лакомые кусочки своим детям и держа его в черном теле, как говорила нам Настя, наша родственница из деревни, жившая с нами в одной квартире. Но он все переносил безропотно даже ничего не замечая, и только работал и работал днем и вечерами, пока у него не заболела рука (писчая судорога), заставившая его перейти на инвалидность и обучаться письму левой рукой, чего он все-таки добился, благодаря своему старанию.

Он никогда не заботился о себе. Одевался более чем скромно. Все деньги отдавал Елизавете Васильевне. Бывало, когда он приходил к нам, тетушки мои всегда старались его чем-то подкормить. И когда предлагали ему поесть, он, помолчав немного, скромно говорил: «Да, можно». Его женитьба на миллионерше оказалась ему плохой услугой. Однажды, это было в 27-м году, их обоих арестовали и «выпаривали» из них золото, которого у них не было и в помине. А делалось это так. Арестованных сгоняли в одну комнату, туго набив ее стоящими людьми, закрывали двери и уходили. Люди не могли ни присесть, ни наклониться. Начинали задыхаться, обливаясь потом. Тогда к ним обращалась с требованием сдать золото или драгоценности, обещая выпустить тех, кто это делает. Наверно, кто-то и мог освободиться оттуда таким образом, но многие не могли и лишились сознания сразу, даже не имея возможности упасть. Так и не выкачали ничего из папы и Елизаветы Васильевны и отпустили их домой.

После этого была еще у папы большая неприязнь из-за его доверчивости, а, может быть, и рассеянности, к которой он был немного расползлом. На работе из его сейфа кто-то украл порядочную сумму денег. Или подобрал ключ, или папа забыл закрыть сейф, он и сам не знал точно. Но денег не оказалось, и ему пришлось продать рояль, чтобы вложить эти деньги. Помню, как он переживал

это. Мне было очень жаль роаял, но я вскоре уехала в Киев (в 1928 году). Я любила папу, но с детства большой душевной близости к нему не ощущала, наверно потому, что он не имел времени заниматься мною. Я любила бросаться к нему, повисать на шею, целовать его колечные щеки. Он был всегда ласков, но играть со мной не умел.

Часто, когда маленькая я шла с ним по улице, цепляясь за его опущенную руку, я задавала ему какие-нибудь вопросы, он их не слышал, погруженный в свои думы о жизненных заботах. Люди, знавшие папу, очень уважали его. Жильцы нашего дома выбрали его кварт-уполномоченным и очень доверяли ему во всем. И вот одни жильцы, занимавшие комнату на нашем этаже, решили переменить место жительства и оформили обмен с каким-то южным городом. Это было уже без меня, и мне рассказали потом, как все произошло. Двери своей комнаты они опечатали. Вернее, папу попросили это сделать, отдали ему ключ и уехали. А через некоторое время какой-то человек в кожаной куртке с чемоданами в руках вошел в квартиру, сломал печать, открыл как-то двери и втащил чемоданы в комнату. Соседи побежали за папой. Он пришел и спросил незнакомца, по какому праву тот самовольно занял комнату, на что тот нахамил ему и выгнал его. А папа сказал, что он этого дела не оставит. Через несколько дней его арестовали, и он исчез навсегда. Когда тетюшки стали навредить справки о нем, им ответили, что папа осужден и выслан неизвестно куда без права переписки. Вот так и закончилась жизнь моего отца - человека трудолюбивого, честного, борющегося за справедливость. Я до сих пор храню последнее папино письмо, посланное мне во время болезни Алехи в Караганду и полное сочувствия к нам, жалости к ребенку и воспоминаний об Оленке, умершей от желудочной болезни. Тяжело не знать о конце его жизни и о месте его захоронения.

А жизнь потекла дальше уже без него. Возвращаясь к 1941 году. Лето было хорошее, ребята были с нами на гастролях в г.Киздере. Там была река Десна, куда мы часто ходили все купаться, а иногда Боренька даже удил там рыбу. И вот в одно из воскресений мы утром пошли с ребятами на эту речку, долго булькались в ней, бросали камешки и лежали на песочке. Настроение было чудесное. Проголодавшись, мы пошли домой. Проходя мимо домов, мы в некоторых из них услышали плач, очень удивились и пошли скорее домой. Хозяйка наша была тоже заплаканной и сразу же крикнула нам: «Война ведь началась! Война!» Мы были поражены и потрясены этой ужасной новостью. Оставив детей, мы побежали в клуб, где играли. Там уже собралось много встревоженных актеров.

Спектакли наши, конечно, были отменены, и директор сказал, что он постарается отправить нас как можно скорее в Карачев. Но это оказалось не так просто сделать. Уже шли шешелоны с беженцами из пограничных городов, с отступавшими войсками, и коллектив пришлось отправлять по частям. Кто с детьми - тех отправили в первую очередь, в том числе и нас. На станциях были заторы, страшный беспорядок в продвижении поездов. Но все-таки мы доехали до Карачева. Он стоял на самом пути отступающих войск, и было тревожно. Окна мы оклеили лентами бумаги и плотно завесили одеялами, чтобы свет не проникал на улицу. Мы ждали, пока вернется весь коллектив. Боренька выкопал в саду небольшое убежище, переверыв его бревнами и засыпав землей. Ребятам это, кстати, понравилось, и они там играли. Но нам иногда становилось жутко,

когда над городом пролетали самолеты, гудя так, что стекла дрожали. А по ночам мимо окон тяжело шли наши отступающие войска. Слышны были тихие голоса и шарканье усталых ног. Часто проносились дома грузозуки с сидящими в них запыленными, с черными измученными лицами, солдатами.

Театр наш должен был быть закрыт, коллектив распушен, но у людей не было денег, т.к. театр задолжал нам за 3 с половиной месяца зарплату. Хлопотали о дотации, которую нам, наконец, выплатили. Сумма была порядочной, но деньги уже тогда очень обесценились. Получив расчет, сложили мы свои вещи, которые не могли унести в руках, в мой большой сундук, взяли несколько больших чемоданов и порт-плед с постелью и, получив от театра билет на поезд, потащили на вокзал. Билеты были у нас до Урюпинска. Почему именно туда мы поехали, расскажу. Мы совсем не знали, куда нам ехать, и были в растерянности. А в нашем коллективе был такой артист - Федя Мельников. Он был родом из Урюпинска, и там жили его родители. Вот он нам и посоветовал ехать туда, т.к. городок этот маленький, даже бывшая станция, и эвакуированные, возможно, в нем еще не набрались. И, кроме того, нам будет где остановиться - у его родителей. И я еще раз убедилась, насколько наша жизнь состоит из случайности.

Боренька нес большой чемодан и тяжелый порт-плед, а за спиной большой рюкзак. Я тоже нацепила на себя рюкзаки с провизией, а в руках два чемодана: один небольшой, с посудой, другой, побольше, с бельем. Даже Киса несла сумку с фотоаппаратами и разными мелочами. Бедных наших курочек пришлось нам зажарить на дороге. В Пеструшке оказалось столько зародившей яичек, что я даже заплакала. Хлеба пришлось взять с собой побольше, т.к. неизвестно было, сколько и как мы проедем до Урюпинска. И вот залезли мы в товарный вагон нашего поезда, где уже было много людей, ехавших в нем от самой границы. Помню, было много евреев из Бобруйска. Все спали на полу. Полок не было. Была только одна высокая полка, рядом стола, на которой можно было поест. Отделили нам один угол, и мы в нем расползлись.

В первую же ночь мы поняли, что в теплушке ехали не одни люди. С нами ехали вши, которые набросились на нас, как на «свежежиков». Нельзя сказать, что мы ехали. Всюду был страшный беспорядок: ни расписания, ни графиков. И вот уже в Грязях случилась с нами одна неприятность, заставившая меня пережить страшные для меня два часа.

Одна старая еврейка из Бобруйска попросила Бореньку показать по карте, которую он взял с собой, маршрут пути до ее станции. Он достал карту из фотоаппарата, разложил ее на столе и стал показывать старухе. В это время в открытый вагон заглянул охранник и, увидев карту и фотоаппарат, заподозрил в Бореньке шпиона и увел его неизвестно куда. Я очень испугалась, зная, какая сейчас неразбериха, как могут обвинить в чем-то подозрительном и задержать неизвестно на сколько. А в то же время, поезд наш может двинуться в любую минуту и увезти нас от Бореньки. Я места себе не находила, и чем дальше это продолжалось, тем больше я волновалась. Время шло, а Боренька все не возвращался, меня буквально стало трясти, и я чуть не редела.

Наконец-то он вернулся и рассказал, как все с ним было. Пока начальник дорожной милиции был занят, его посадили в каталажку и только потом повели на допрос. Начальник тоже все вначале подозрительно осмотрел, проверил

документы. Потом, достав из аппарата порошки с корицей, которые папа второпях туда засунул, обнюхал, их проверил, не заряжены ли кассеты (они, к счастью, оказались пустыми) и только тогда отпустил Бореньку с миром. Но мне эти страшные два часа показались вечностью, и я не могу забыть это приключение. Не помню уж теперь, сколько времени мы ехали до Урюпинска, но приехали туда поздно вечером, уже в темноте. Пришлось ночевать на вокзале. Ребята мы уложили на чемоданы, а сами легли рядом на полу, подстелив что-то из порт-пледы. Уснули, видимо, очень крепко. Когда же мы проснулись, то увидели, что из-под ног Алеша утащила у нас небольшой чемодан с посудой. Мы, конечно, очень расстроились, но были рады, что это чемодан не с бельем.

И вот мы, несколько облегченные, пошли искать дом Мельниковых. Нашли без труда, но там уже оказались эвакуированные, нас в доме негде было поместить и нас устроили в каменной кладовой. Хозяйка сказала нам, что в городе уже полно эвакуированных, что жизнь стала плохая. Все дорого страшно и в магазинах ничего нет. Продавались только «чибрики» - лепешки из кислого теста, вареные в постном масле. Мы, конечно, сразу их купили. Они были горячие и, как нам показалось, очень вкусные. Мы и потом часто жили на одних чибриках, пока они не исчезли. На базаре невозможно было ни к чему подступиться. Соли в продаже не было, и банку соли меняли на банку масла. А хлеб катастрофически быстро дорожал, и его тоже купить можно было лишь на рынке.

Квартиру Боренька искал долго, но все-таки нашел у такой Елизаветы Ермолаевны, жившей во втором этаже каменного дома. Комната была довольно большая, но, как оказалось потом, очень холодная. Ход через кухню, где жила Елизавета Ермолаевна. Это была не симпатичная и очень ленивая женщина. Она могла целыми днями лежать на своей перине, устремив взгляд на потолок. Зимой, зная, как мы коченеем от холода в комнате, она не разрешила поставить там пеленку и еще накричала на нас, что мы хотим спалить ее дом. А когда она заболела общим ревматизмом и не могла пошевелиться, я ухаживала за ней, стирая ее пеленки и переворачивая с трудом.

Когда же потом заболела я, она даже не подошла ко мне. Сколько раз в жизни я встречалась с очередной неблагодарностью людей! Так мы от нее и переехали на другую квартиру, в которой мы сняли совсем маленькую комнату, зато там было тепло и хозяйка, Конкордия Михайловна, была куда лучше.

Возвращаясь назад, ко времени нашего приезда, не работать было нельзя, и мне удалось поступить в эвакуационный санитаркой. Теперь я даже рада, что познакомилась еще с одной стороной жизни и довольно близко подошла к войне, которую я, к счастью, больше не видела, а только ощущала все ее последствия, а главным образом голод. Госпиталь был расположен в здании двухэтажной школы. Внизу в вестибюле стоял старый рояль. Я когда-то подошла и попробовала, как он звучит. Раненые узнали, что я играю, и стали часто просить меня поиграть для них. Я это, конечно, делала с каким-то особым чувством удовлетворения, что я могу порадовать чем-то этих страдающих людей. Запомнился мне один раненый, очень симпатичный, обросший небольшой бородой. Настоящий россиянин с синими глазами. Ему ампутировали большой палец на руке. Я дежурила ночью и видела, как он, держась за руку от боли, расквашивался, а сам как-то конфуливо улыбался. Дежурства, конечно, были нелегкими. Надо было делать все: и ползать под кроватями, моя пол, и выносить судна и плевательницы

и поить больных, и после ночных дежурств я приходила домой уставшая и спала потом полдня. Но проработала я в госпитале недолго. И опять помог случай, и очень основательно. Одна медсестра сказала мне, что ее сестра работает в райкоме партии бутфетчицей. Она должна куда-то уехать, и ей нужна срочная замена. Так вот, не соглашусь ли я ее заменить. Я, конечно, с большой радостью согласилась. Пошла в райком, договорилась и приступила к работе. Служащих райкома было 37 человек. Для них я должна была привозить из пекарни хлеб и все то, что могли дать в специальном магазине и на мясокомбинате. Секретарем райкома был Николай Михайлович Черепанин, сыгравший в последствии тоже немалую роль в моей жизни. Это был симпатичный, культурный человек, с которым мы потом уже в Волгограде-Сталинграде встречались много раз.

Я должна была рано ехать или идти в пекарню, получать хлеб горячим и доставлять в райком. В райкоме была чудная лошадь Васья. Если он был свободен, то мы ехали с Алексеевичем-кучером за хлебом, а если лошади не было дома, я приносила хлеб на себе в несколько приемов. Потом Боренька сделал мне ащик на колесиках, и я возила в нем хлеб. В первые же дни получился казус. Я развесила хлеб по порциям, а мне самой не хватило. Оказалось, что хлеб меняет вес, когда остывает, и, кроме того, теряет на «разновесе». Я была смущена и, конечно, обеспокоена, оставшись без хлеба, и спросила помощника секретаря, как мне быть. И он разрешил мне класть на тарелку для гири пятак на этот самый разновес, и все пошло нормально. Хлеб тогда выдавался по карточкам, и ночью приходилось дома наклеивать на большие листы талоны, по которым я раздавала хлеб.

Взрослым тогда давали по 400 г, а детям по 200. Как нас тогда спас наш буфет! Иногда служащие не брали хлеб, и он доставался мне. Они-то ведь были сыты. У многих были свои хозяйства: корова, свиньи, куры. А иногда я ездила на мясокомбинат, где нам давали свиные уши и хвосты, а иногда и тубуху, которую мы узнали впервые. Хорошо очищенная, выскобленная и сваренная в соленой воде, она даже вкусная. Одним словом, райком нас кормил, и я там старательно работала. Даже подколола сухарей. Боренька поступил в театр как актер. Зарплата была небольшой - 400 руб., а буханка хлеба к концу нашей жизни в Урюпинске стоила 360 руб. Приходилось продавать все, что возможно. Но вещей у нас было немного, и продавать стало вскоре нечего. А тут еще случилось беда: у Бореньки сильно заболели ноги, вернее кожа на них. На голеньях появились раны, которые никак не заживали, мокли и гноились. Это была «пидермия». Врач сказал, что это могло случиться от заражения микробами, живущими в гнилушках деревьев. А нам ведь приходилось возить на себе дрова из леса. Это тогда тоже было проблемой, да еще какой. Для того чтобы собрать в лесу «сушники», т.е. старые засохшие ветки, нужно было достать разрешение из лесной конторы, а это было нелегко из-за очереди там, а иногда талоны вообще не давали. Приходилось, в силу необходимости, идти в лес без талона, а лесник мог отобрать собранный хворост, что было с нами не раз и было так тяжело и обидно. Из-за болезни ног Бореньки пришлось сидеть дома. Он не мог даже обуться. Мы заказали специальное ведро жестяное, особой формы и делали ему ванночки из марганцовки. Болел он очень долго, очень расстраивался, а на меня пали все заботы и работа. От театра дали земли для огородов за 7 км от города. Боренька тогда еще не болел, и мы посадили там кукурузу, тыква и немного картошки. Но

когда он заболел, урожай пришлось собирать мне одной, особенно тяжело было таскать тыквы, но они нас тоже поддерживали. А кукурузу мы молили на мясорубке и варили кашу.

Первый год мы прожили еще сносно, но дальше пошло хуже. Буфет мой закрыли, переведа всех работников райкома в спецраспределитель (магазины для избранных). Не стало ни каких приварков. Сухари мы быстро съели. Из одежды все, что могли, продали и начали «подголаживать». Я тоже поступила в театр плохо отопливаемый, где мы все застывали. Коллектив был неинтересный, люди голодные (тоже из эвакуированных). Директор - ничего не понимающий в искусстве артист. Худрук был отвратительный человек - эгоист и хам высшей марки, совершенно не жалевший актеров. На наши две зарплаты можно было купить только две буханки хлеба. Мы его и не покупали. Брли на рынке иногда стакан пшена и варили из него суп.

Театр плохо посещался, и зарплату часто задерживали. А тут еще случилось большое осложнение с моим здоровьем. Весной 1943-го года дали себя знать яичники, которые давно были не здоровы и на них выросла киста, особенно на правом. Она стала такой большой, что ее было видно снаружи, она не давала мне сгибать ногу и наклоняться. Пришлось показаться врачу. Он сказал, что мне нужно сделать операцию, иначе это может кончиться неожиданно и очень плохо, может быть даже смертельно. Но в больницах не было наркоза, и врач мне посоветовал обратиться в госпиталь. Зная, что мне лично там откажут, я пошла к Николаю Михайловичу Черепяхину и попросила его помочь мне. Я сама слышала, с каким трудом он добился по телефону, чтобы дали мне две банки эфира. Операцию взялся мне сделать врач из госпиталя - симпатичный еврей. И я, не откладывая, пошла на операцию в больницу. Вот подготовили меня, положили на стол, одели маску. Я слышала, как хирург сам стал протирать мой живот. Я как-то не боялась, а была наполнена чувством признательности к этому человеку и сказала ему через маску: «Доктор, вы такой милый!». На что он ответил: «Вы тоже милая!». Тут стали на маску лить эфир и заставляли вдыхать его. И вот сначала перед глазами как будто загорелась яркая лампочка, которая постепенно начала удаляться от меня, а я куда-то проваливаться. Огонек стал совсем далеким, мигнул несколько раз и все пропало. Проснулась я уже в палате. Доктор сидел рядом и смотрел на меня. Потом он много раз приходил из-за меня в больницу и следил за моим состоянием. От платы за операцию он отказался. Вот какой хороший человек попался на моем пути! И началась моя больничная жизнь.

Рядом со мной лежала молодая женщина с ампутированной ногой выше голени, Нюра. Шла посевная. Она была прицепщицей. Работали и днем и ночью. И вот она, пока трактор пошел на другую сторону поля, легла на поле и сразу уснула от усталости, а тракторист наехал на нее и раздавил ей ногу. Вот и отрезали. Вскоре привезли и другую такую же жертву усталости. Только у этой был громадный надрез на ягодице. Лемех глубоко врезался в нее. Положили ее на другую сторону рядом со мной. Надрез загнивался, и в палате стоял ужасный запах, особенно во время перевязок.

И запомнилась мне навсегда эвакуированная еврейка из какого-то пограничного города, Соня Духонел. У нее, по-видимому, был рак, и из пупка бесконечно сочилась чистая кровь, без конца смачивая бинты. Боли она не испытывала, но постепенно таяла от потери крови, а на фронте у нее был сын



С детьми в Кривом Роге. Около 1950г.



1953г.



Вокальную партию исполняет хормейстер Волгоградского театра музыкальной комедии Герасимов Б.А., за роялем - концертмейстер этого же театра Грязных Н.В. Начало 60-х годов.

Миша. Чувствуя, что она близка к смерти, она раздала все, что у нее было с собой, женщинам в палате. Иногда в полусне, в полубреду она звала сына, разговаривала с ним, как с живым, говорила: «Ну иди ко мне! Подойди сюда!». Тяжело было все это слушать. А в воскресенье, как сейчас помню, на закате солнца она отвернулась от нас к стенке и лежала на боку. За окнами кто-то закричал, а она сказала: «Тише, тише!», почти шепотом. Я с необыкновенным волнением смотрела на ее поднимающийся и опускающийся бок. Движения эти становились все реже, и, наконец, совсем прекратились. Соня умерла. Это была первая смерть на моих глазах. И хорошо, что она была такой спокойной, без агонии. Пришла санитарка, содрала с Сони равнодушно рубашку, оставив голой, прикрыли простыней и ушли. Не знаю почему ее не унесли сразу. Может быть потому, что это было воскресенье, но Соня так и ночевала с нами. Вернее, мы ночевали с покойником. Нам всем, конечно, было не по себе, и спали мы плохо.

Пробыла я в больнице не очень долго, шов зажил, но дома иногда побаливал, если бралась делать что-то физически. Летом театр должен был поехать по району, и я оказалась не нужной пока. Меня оставили на 50% и предложили сторожить огороды за городом около небольшого озера. Я согласилась. Построили мы с Боренькой шалаш из веток, накрыли сверху клеенкой, сделали даже дверцу, нары, под которыми вырыли большую яму для овощей осеннего сбора, и я устроилась в своем новом жилище по хозяйски, с постелью и посудой. Под моим надзором было 4 участка - 4 огорода разных организаций. Все это занимало довольно большую площадь. Около шалаша и нам отвели часть земли. Мы посадили свеклу, немного моркови и картошки, которую тогда продавали небольшими банками, а не ведрами, и очень дорого, так что много мы не могли посадить. Но когда свекла подросла, мы сразу некоторые листья с нее варили и ели с громадным удовольствием, наглодаввшись зимой. А в озере вылавливала ракушки, мы мололи их на мясорубке и поджаривали на сковороде. Но они плохо переваривались, были как резиновые. Но все-таки куда вкуснее тех картофельных очистков, которыми снабжали нас соседи в конце зимы, когда у нас уже нечего было есть. Сейчас все это покажется даже странным, но так было.

Пока театр еще не уехал, ребята прибегали ко мне на огород, ели «ботвинью» из листьев свеклы и потом веселились на площадке перед шалашом. На соседнем с моими огородами участке жила тоже сторожиха - Акулина Ивановна, очень славная маленькая старушка. Иногда и она приходила ко мне, и мы пели с ней «Кресту твоему поклонимся, Владыка...», которое осталось у меня в памяти от моего пения на клиросе. Почему-то мне особенно запомнился один вечер, когда ярко светила луна, лягушки квакали на озере, а ребята танцевали и скакали на белой от света луны вытоптанной площадке, пока отец не пришел за ними. Потом театр уехал. Б. взял детей с собой в надежде, что может в районе легче будет прокормиться, да и нельзя было оставить дома их одних.

Теперь не могу утерпеть, чтобы не рассказать, как «сторожиха» была одета. Все летние платья мои были проданы или уже изношены. Одеть было буквально нечего. А у нас сохранились Боренькины шелковые рубашки Париса из «Прекрасной Елены», одна розовая, другая голубая, расписанные бронзой с греческим орнаментом. Они были довольно длинные и пригодились мне, как платья. Но очень скоро подолы рубашек превратились в болтающиеся ленты,

т.к. мне приходилось постоянно бегать по огороду от одной хозяйки к другой, которые приходили проверить свои посадки, и обижались, если сторож к ним не подходил. И я помню, как одна учительница тихо сказала другой, пришедшей с ней: «Вы знаете, кто это? Ведь это же пианистка! Я видела ее на концерте театра!». Они рассматривали меня с удивлением и состраданием, качая головами.

Вот так я и прожила все лето на огороде. Не могу сказать, что я боялась отдаленности от города, но иногда, конечно, и прислушивалась настороженно к шорохам, которых кругом было много. По счастью, воровство не коснулось наших огородов, хотя это запросто могло случиться в любую темную ночь. Был, правда, один момент, когда я испугалась. Я пошла, как обычно, в свой обход. Ночь была особенно темной и тихой. Я шла по тропинке между грядками, как вдруг близли от себя услышала шорох явно от движения человека. Я с замирающим сердцем остановилась и стояла не дыша. «Он» тоже замер. Тогда я тихонько, чтоб шагов моих не было слышно, стала пятиться назад и так дошла до шалаша, и мне стало смешно над собой. Вот так «сторож»! Днем я осмотрела примерно то место, но никакого подкопа не обнаружила.

Тогда театр вернулся в отпуск, Боренька иногда приходил ночевать ко мне. Начался уже сбор овощей. Каждая хозяйка накладывала мне небольшое ведерко картошки, бросала иногда свеклу или морковь, или несколько помидорин. Заработала я тогда 100 ведер картошки. Насыпала я ее под нары, а Боренька уносил понемногу домой.

И тут решили мы приобрести поросенка. Боренька выменял свое пальто на свинку, которую мы назвали Зинкой. Жила она в старом провалившемся погребе, куда я натаскала, подбирая на рынке, как нищенка, солону. Устроила уютное гнездышко для Зинки и даже сделала ей шатер из старого шерстяного полотенца. Оказалась Зинка очень привередливой к еде. Зеленоватую картошку не ела. Кровь, которую я для нее привезла с мясокombината, тоже есть не стала, а соседские свиньи съели ее с жадностью. Я очень привязалась к Зинке, ласкалась с ней. Она была очень чистоплотной. Устроила себе в одном месте уборную и только туда ходила. Прокормили мы Зинку 3 месяца, пока не кончилась наша картошка, и пришлось нам ее заколоть. Какой-то сосед сделал это, взяв себе все потроха. А одну переднюю ногу с лопаткой мы отдали хозяйке по договору. Свинушка была не жирной, но все таки нас так поддержала. А потом стало все труднее с питанием, и зимой 1944 года мы очень подголодали. Хотели мы спускаться со Сталинградом, но наш директор не отпустил никак. Все мы обессилели, а я начала опухать. А тут еще мы с Кисой отравились соевой мукой, которую выдавали нам иногда, и обе попали в больницу.

И вот там врачи, увидев, как я опухла, дали мне справку о дистрофии, по которой я получила инвалидность, дающую мне право уехать из Урюпинска. Боренька списался с тракторным заводом, где нужны были муз. руководители, оттуда нам прислали ответ - вывоз, и вот в декабре 1944 года мы покинули город, где прожили 4 года и столько выстрадали. Я даже не удержалась от слез, глядя из окна вагона на этот маленький городок. Приехали мы в Сталинград вечером - идти не знали куда, и пришлось нам ночевать на вокзале - деревянном здании, покрашенном в красный цвет. Легли прямо на пол, прислонившись к своим чемоданам.

Утром Боренька сходил за пайком и принес хлеба и маргарина. Каким он

показался нам вкусным! Потом он поехал на разведку на тракторный. Вернулся грустным, потому что квартиры для нас не оказалось. Пришлось и вернуть ночь ночевать здесь, на вокзале. На следующий день мы оставили ребят около вещей, а сами поехали в завком завода. Оказалось, нас действительно некуда поместить. И вот тут секретарь завкома Василий Митрофанович Булгаков повел нас к себе. Это был очень хороший, добрый человек. Жил он со своей семьей в большой длинной комнате, разгороженной занавесками на крохотные квадратные уголки, где в каждом жили люди.

В общей сложности так жили, наверное, семей 16-15. Но комната уже отапливалась от завода паровым оттоплением, и было очень тепло. А зима тогда была очень бесснежная и очень холодная. Семья Василия Митрофановича состояла из него, жены, Варвары Ульяновны, трех дочерей и еще сестры Варвары Ульяновны, которая тогда была в отъезде, что и дало нам возможность втиснуться в их каморку.

Очень это были добрые и хорошие русские люди. Спали мы вповалку на полу с ребятами, а хозяйка - на 2-х железных кроватях. Мы были бесконечно благодарны им и до сих пор поддерживаем связь со старшей дочерью, Валей. А Василия Митрофановича убило на заводе каким-то тросом, матери уже тоже нет в живых. Светлая им память!

Бесконечно стеснять людей мы не могли, и Боренька поехал в Бекетовку, где работала филармония.

Я забыла рассказать о Сталинграде, как он тогда выглядел. Это были сплошные развалины, среди которых мы не встретили ни одного целого дома. Кругом только стены и дыры пустых окон. Непонятно было, откуда же выходят люди, ходящие среди развалин. Некоторые жили в подвалах и на лестничных площадках, обитых железом и фанерой, или в бывших блиндажах.

Бекетовку же немцы сохранили для своих зимних квартир. Вот там и жили население Сталинграда, снимая квартиры у частных хозяев. Трамваи не ходили, и можно было ездить только поездом по путям, проложенным над самой Волгой вилу. Поезда ходили редко, и за билетами всегда была давка.

Драмтеатр работал в клубе «Сталгресс». Филармония была почти рядом в высоком доме старинного образца. В состав филармонии входила хорошая капелла, состоявшая вначале из одних женщин, всего 24 человека. Руководил хором пожилой уже человек, полянский, с абсолютным слухом, но чудоудачный, требовательный и, как и все мы, бедный. Вот, как раз у них не было ни концертмейстера и второго дирижера. И нам предложили эту работу. Мы были очень рады, тем более, что там давали продуктовые карточки под разными литерными. Нам дали литеру «В». Это были продукты, присылаемые из Америки. Туда входило масло, сахар, крупа и колбаса в металлических коробочках, чудесная на вкус, и сало «Лярд». Мы, такие голодные, были бесконечно счастливы такому найму, и я не могу забыть, какая была чудесная каша из золотистого пшена, сваренная нами впервые. Комнату мы сняли приличную, недалеко от базара, но жильцов оказались нечестными - они обворовывали нас, таская продукты и залезая к нам в чемоданы.

Из-за этого пришлось нам искать другую квартиру, и Боренька нашел маленький домик на 2 окна с кухней, без хозяйки, которая жила во дворе. Платить за квартиру нужно было 600 руб. и самим топить, а зарплата на двоих составляла

2000. На рынке все было очень дорого, и нам необходимо было прирабатывать где-то. Мы взяли работу в РУ №2 - училище для девочек, оставшихся без родителей или нуждавшихся. Их было 400 человек. И я еще набрала частных уроков и работу на Сталгрессе, в воинской части, почти без оплаты, но на воинском пайке. Возвращалась я домой уже к ночи. Боренька тоже взял себе школу, и я тогда там с ним работала.

Приехали мы настоящими оборвышами. На ногах у меня были очень старые стеганные бурки, из которых высывалась вата, и к ним привязаны веревочками оранжевые глубокие галоши, слепленные из резины. Дети из всего выросли и тоже выглядели ужасно. Надо было как-то приодеться, а для этого нужно было заработать побольше.

Ну, хоть сыты были, и то слава Богу. Но за хлеб приходилось стоять подолгу в очередях. Он был еще по карточкам. Дети учились в школе, и мы их мало видели, не бывая целыми днями дома. Обедали иногда в училище. Домашнюю пищу приходилось варить или рано утром или совсем поздно, ночью. Белье я стирала сама, иногда совсем не ложась спать, и потом бегом бежала в филармонию. Репетировали мы в разных местах - где пустят, а иногда даже у нас дома на филармоническом пианино. Позднее нас устроили хорошо, в здании клуба Сталгресс, и мы там репетировали после репетиции драмы. Выступали же мы с концертами по школам, общежития, и, очень редко, в зале клуба. Работа для меня была волнительная. Я боялась Полянского. Он любил пробовать в разных тональностях, а я не очень-то умела это делать. Мы с ним работали года полтора, а потом он уехал куда-то, а у нас дирижером стала Александра Романова - энергичная, способная, но очень себлюбивая и эгоистичная. С ней я проработала 4 года и воспоминание у меня о ней не очень приятное. В городе отремонтировали театр для драмы за эти годы, где она и начала работать по-настоящему, и нам стало еще свободнее в нашем клубе, мы чаще выступали на своей сцене, хотя выезды тоже были. Главным режиссером филармонии был тогда Герцев Глеб Сергеевич. И вот он решил перейти на работу в музкомедию, которая базировалась на тракторном, и предложил нам тоже перейти вместе с ним, т.к. часть состава театра уезжала в Омск, и театр оставался без концертмейстера и хормейстера.

Вот на эти должности он и приглашал нас. Зарплата была ниже, чем в филармонии, но зато нам давали комнату в актерском общежитии. Я долго не решалась на переход, но Глеб Сергеевич усиленно меня уговаривал и, наконец, уговорил. Через месяц мы должны были быть уже на тракторном, и вот тут обуял меня великий страх и неуверенность в своих силах. Я потеряла сон и покой. Все мне казалось, что я не смогу там работать и подведу театр, да и себя. Это был кошмарный месяц, полный ужасного страха, который подействовал на мой организм плохо, и кончилось это тем, что неожиданно пошла у меня кровь горлом после рубки дров. Мы сразу с Боренькой пошли в больницу, где меня быстро обследовали и сказали, что у меня туберкулез. Для нас обоих с Боренькой это была страшная неожиданность. Мы не подозревали об этом. Вскоре я затемпературилась, а ведь переходить-то все равно надо было. И вот мы перебрались на тракторный. Театр помещался в бывшем заводском цехе. Было, конечно, тесно и неудобно работать. На меня навалилась сразу вся работа: и для балета, и с Боренькиным хором, и разучивание партий с актерами, и концерты, на которых я страшно волновалась. Это все с повышенной температурой до 38

градусов с лишим. Из тех спектаклей, что шли у нас в Кургане, ничего здесь не шло. А я была единственным концертмейстером в театре и должна была отвечать за все. С ужасом вспоминаю это время.

В конце концов я совсем обесилела и свалилась в постель. Но и тут за мной присылали, прося придти хотя бы для балета. Приходилось идти. Я похудела страшно. Есть ничего не хотела. Весила всего 43 кг. Наконец положили меня в больницу, а в театр взяли преподавателя муз.школы, которой тоже было очень трудно работать, совсем не зная репертуара. В больнице мне пытались сделать поддувание, но ничего не вышло из-за старого плеврита. Посоветовали мне поехать в Москву и сделать там торакопластику - удаление нескольких ребер для снятия легкого. «Иначе вы сгорите» - сказали мне врачи. С деньгами у нас в те времена вообще было плохо. Задерживалась зарплата, т.к. театр не был на дотации.

Боренька написал Сереже - брату, жившему в Москве кинорежиссеру и его жене, Макаровой Тамаре Федоровне, описал наше положение и просил помочь, чем может. Они прислали денег на дорогу и написали, чтобы я приехала в Москву к ним для помещения меня в больницу. И вот тут произошло нечто удивительное. Дома я температурила несколько месяцев, а по приезде в Москву утром я смерила температуру, и она оказалась нормальной и больше не повышалась. Просто странное чудо!

В институте, куда свозила меня Тамара, палочек не обнаружили, к моей великой радости. Она хотела устроить меня в самый главный институт, звонила по телефону целый июль-месяц и все таки устроила в ЦТИ. Расположен он был почти совсем за городом, на железнодорожной платформе «Яуз» (река), где было много зелени. Вообще, я попала в такие хорошие условия и обстановку, что была просто счастлива. А главное, я могла лежать и отдыхать сколько угодно. Это было впервые в моей жизни. Кроме больничного питания раз в неделю шофер Сережи - Павлуша (теперь уже Павел Васильевич) привозил мне яички и сливочное масло. Целые дни я проводила на террасе, куда выходила дверь нашей палаты. Никаких уколов мне не делали. Тогда только появился стрептоциллин - очень дорогое лекарство. За него нужно было платить, но на это я уже не рассчитывала. Я и сама без него начала поправляться и с радостью замечала, что из безгрудого скелета я начинаю превращаться в женщину и в весе прибываю очень заметно. Главным врачом института был профессор Богущ, и больные придумали забавную поговорку: «Чем отдавать Богу душу, так лучше отдать ребра Богушу». Время шло, и я пролежала в институте больше месяца и стала готовить себя морально к операции. Не просто ведь, когда у тебя щипцами выламывают ребра, а потом залезают внутрь грудной клетки и закладывают туда большие тампоны, сдавливающие легкое. Вызвали меня на консультацию, посмотрели на снимки и сказали, что операцию делать не будут в виду большого улучшения в легких, и что мне необходимо теперь поехать на 3 месяца в Крымский санаторий для завершения лечения. Как я была рада, можно себе представить! По телефону я все рассказала Тамарочке, она прислала за мной Павлушу, и я покинула институт. Вскоре Тамара с Сережей купили мне путевку (за 3000 руб.) и отправили меня туда.

Мы сами, конечно, никогда бы не смогли этого сделать. Сумма нам эта казалась громадной, и мы так и не смогли вернуть им эти деньги. Я не забываю

это благодеяние, и до сих пор в письмах благодарю их за это.

Я никогда не бывала в Крыму и моря не видела, поэтому мне все там казалось зеленым раем.

Жила я в санатории «Красный маяк», высоко над морем неподалеку от горы «Кошка». Палата была на 3-м этаже, как бы в таком мезонине. Нас жило там 4 человека. Вместо балкона была у нас крыша 2-го этажа. Там было просторно, и мы часто даже спали там ночью на раскладушках. Вот это было блаженство! Проснешься, встанешь, а перед тобой внизу море до горизонта. Кормили нас очень хорошо, я прибавила в весе быстро и к концу лечения так располнела, что платья некоторые не влезали. В общем, с 43-х кг я дошла до 79-ти. Погода нам очень благоприятствовала. Было много солнца, и я даже один раз поджарились на солнышке. Это было 7-го ноября, когда я решила одна прогуляться до Алупки и побывать в Алупкинском парке, в который я влюбилась. Особенно полюбились мне хвой - громадное дерево в форме елки. Через несколько лет оно почему-то погибло, и я даже плакала, так мне было жаль эту красавицу. А какие там сосны! Мне особенно понравился гималайский кедр, раскинувший широко свои ветки и походивший на дерево из страшной детской сказки. А ливанские кедры с высокими желтыми стволами и яркой зеленью на верху! В тот раз Воронцовский дворец был обнесен забором из-за ремонта. Но года через два мы жили в Алупке уже вместе с Боренькой, и тогда побывали и во дворце. Красота! Я жила в санатории, а Боренька на частной квартире. Вот тогда было очень жаркое лето. Моя путевка была уже обычной, на месяц. Здоровье мое укреплялось, и даже температура не повышалась. Мы много купались, загорали. Но Боренька тогда был очень худой из-за своей язвы.

Когда я вернулась в Сталинград из Симеиза, после почти полугодичного отсутствия, да еще с измененной прической, знакомые меня сначала не узнавали, а потом поразились моему видоизменению. В работу втягиваться было трудновато, но постепенно я в нее вошла. Я, вообще-то, не любила с самой молодости жанр оперетты, но здесь мне понравились многие из классических: «Цыганский барон», «Летучая мышь», «Прекрасная Елена». Проработала я в музкомедии 18 лет, да 4 года 6 месяцев в калелле. Мы с театром побывали во многих городах на гастролях, особенно в Поволжье и на Украине. Да и в средней России тоже были не раз. Я радуюсь теперь, что удалось посмотреть столько городов. Мне доставляло особое удовольствие ступать ногами на землю каждого нового города. А со сколькими людьми мы повстречались! Обычно, с хозяйками складывались у нас самые хорошие отношения, и я потом переписывалась со всеми, и даже до сих пор еще пишу, хотя лица многих из них стерлись из памяти. Таким образом, переписка моя дошла до количества 70, и приходилось поздравления писать до 3-х дней. Но зато и ответы приятно получать.

Побывали мы и в Калининграде, бывшем Кенигсберге, где было много интересного от немецкой старины и жаль, что это ломалось. Там мы бывали на могиле Канта - немецкого философа, съездили на Балтийское море, что неподалеку от города, но ехать пришлось поездом что-то около часа. В городе масса чудесной зелени из-за влажного климата и дождей. Когда дети были еще маленькими, мы брали их с собой на гастроли, загружая наших пожитками два больших деревянных ящика, которые ездили с нами в багажных вагонах вместе с имуществом театра. Там мы возили постели для детей, многое из хозяйственных

вещей и даже сахар для того, чтобы на юге мы могли сварить варенье, которое потом в тех же сундуках увозили домой. В ту пору осенью трудно было купить сахар там где было много плодов.

Было так хорошо, что мы с мужем никогда не расставались, всегда работали вместе. Потом, когда уже подростки детей мы оставляли дома из-за учебы, то гастроли нас чаще всего освежали, и мы даже отдыхали как-то от домашних забот и дел. Бывали, правда, иногда утомительные поездки в автобусах на местные, районные гастроли, вернее концерты на расстояние до 100 км, но я очень легко переносила тряску и долгое сидение в автобусах. Бывало и безденежье, когда задерживали зарплату, но на гастролях нас поддерживали сучоные. В общем, годы работы в театре я вспоминаю не плохо, так же как и Боренька, который ушел на пенсию в 65 лет. А я проработала до 58 лет, т.е. еще 6 лет. Я была «поющим» концертмейстером, и сколько я пропела тогда и на прослушивании коллективов новых клавиристов, и на уроках с актерами. Доходила я даже до «до» III-й октавы, как и главные героини, но, конечно, не «настоящим гоголем». К сожалению, теперь совсем не могу петь. Меня всегда интересовала сценическая, постановочная сторона спектаклей и игра актеров, и я иногда высказывала свое мнение наперекор мнению режиссера, что, конечно, было неумно, но я не могла молчать. Таков уж был мой характер.

На Тракторном, в заводском цехе нам было тесно, но зато дом, т.е. общежитие, был рядом, и выезды были только на концерты. А в 1952 году отстроили драмтеатр. Труппа перешла туда из театра над Волгой, а его здание отдали нам, музкомедии. Это было и радость и горе для нас, потому что ездить можно было в город только на трамвае старого образца, т.е. просто сбитого из досок, без отопления. И была такая проклятая остановка (разъезд), которую прозвали «тещиной», из-за того, что, дожидаясь поезда, трамвай мог стоять сколько угодно, а пассажиры в нем чинчили от холода. Вот и прозвали эту остановку «тещиной», т.е. такой, где водитель уходил к теще на блины.

Сколько мы там настрадались, напростужались! Саног тогда еще не было, и носили туфли с резиновыми ботиками. Все мы ждали с великим нетерпением, когда же нам дадут квартиры в городе, но они еще достраивались. Наконец, в 1953 году нас стали переселять в новые квартиры, но далеко не каждой семье доставалась целая изолированная квартира. Только начальникам и первым «персонам» театра, а т.к. мы к последним не относилась, то дали нам 3-х комнатную квартиру с соседями - оркестрантом с женой. У нас была двухкомнатная - 29 м и у соседей - 13. Василий Александрович и Анастасия Арсентьевна Кокоты - были старые люди и безденежные. Нам с ними было хорошо, да и дирекция уверила нас, что это пока временно и что мы получим отдельную квартиру при первой возможности. Но этого обещания они не выполнили.

Послесловие составителя

К сожалению, внести какие-либо уточнения в эти воспоминания теперь уже не представляется возможным – автора нет с нами. Предполагаю, что очевидцы описанных здесь событий рассказали бы о них иначе. Я уверена, что всем нам хотелось бы посмотреть на них с другой точки зрения, услышать другие семейные предания.

История семьи Герасимовых освещена только с момента встречи Бориса и Нины.

А ведь были события и до их знакомства, да какие!

К счастью, род Герасимовых - Грязных не пресекался.

Среди нас есть люди, которые могли бы нам рассказать о нашем еще не далеком прошлом и восполнить пробелы в наших знаниях своей родословной.

Родные мои! Пишите! Не уносите с собой то, что так нужно вашим потомкам!

Говорю это не только от себя лично, но и от имени своих детей, которые с большим интересом ждали этого издания.

Пока у меня есть возможность заниматься издательским делом, я по мере сил могла бы являть свету ваши мемуары.

Заранее приношу свои извинения за возможные недоработки – издатель я неопытный, делаю это любительски, то есть с любовью.

Нина Васильевна Грязных
(28.08.1909 – 19.03.1988)
Воспоминания